



Алексей Смирнов

**Место
в
Мозаике**

Фантастическая проза

Алексей Смирнов
Место в Мозаике (сборник)

«Снежный Ком»

2011

Смирнов А. К.

Место в Мозаике (сборник) / А. К. Смирнов — «Снежный Ком», 2011

Убийца Свирид, не чуждый литературы; опасный сумасшедший сектант Выморков, дьявольский Ферт, философствующий маньяк Маат – все это люди. Они не оборотни, не вампиры, они среди нас, и призрак надежды появляется только в последней повести – «Место в Мозаике». Но это именно – сказка. Истории, которые рассказывает Алексей Смирнов, настолько невероятны, что почти похожи на правду. "Алексей Смирнов – один из лучших прозаиков нашего времени. Почти не существующий в России жанр хоррора под его пером превращается в блестящий русский психологический роман. Его стилистика безупречна. Его сюжеты ошеломительны. Полагаю, Россия будет читать Смирнова – страшась и восхищаясь" (Александр Житинский).

© Смирнов А. К., 2011

© Снежный Ком, 2011

Содержание

Мор	5
Часть первая	5
1	5
2	8
3	11
4	13
5	16
6	19
7	21
8	23
Часть вторая	26
1	26
2	27
3	28
4	30
5	31
6	33
Часть третья	34
1	34
2	36
3	37
4	38
5	40
6	41
7	42
8	44
Натюр морт	47
1	47
2	51
3	56
4	58
5	60
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Алексей Смирнов

Место в мозаике

(сборник)

Мор

Здравствуйте женившись дурак и дура.
В. Третьяковский

Часть первая

Детство, отрочество и юность

1

О том, что кто-то родился в таком-то и сяком доме, который тем обстоятельством заработал себе мемориальную доску, сегодня говорят условно, потому что никто, даже выдающиеся люди, уже давно не рождаются дома, на то существуют акушерские клиники.

Конечно, случается всякое.

Самолеты, поезда, патрульные полицейские машины, театральные вестибюли, переходы метро, вокзалы и чистые поля – места достаточно гостеприимные, чтобы приютить новую душу, запутавшуюся в силках душевной материи.

Высокомерному Свириду такого рода экзотика была неприятна не менее, чем родильные дома для широкой общественности. Потому что сам он принадлежал к числу редких людей, которые появились на свет именно дома, в доме, так что неизвестный покуда вешатель мемориальных досок из далекого будущего мог не бояться покривить душой.

В этом не было заслуги собственно Свирида; причиной явились сами роды – такие принято называть стремительными.

Писк маленького Свирида Водыханова мгновенно и безнадежно затерялся в городском шуме, на который была гораздо набережная, где высился тот самый дом, тяжелый и мрачный даже в погожие дни, каменеющий министерской увесистостью.

Со словом «сегодня», помещенным в начале нашего короткого рассуждения о досках и домах, мы немного поторопились. Говоря откровенно, Свирид явился на свет не сегодня, а вовсе даже вчера, если поверить днями десятилетия. Но и тогда, на исходе тридцатых годов, сеть родовспомогательных учреждений была достаточно широка, чтобы домашние роды с достоинством отступили в прошлое.

Еще четырех лет от роду, накануне войны, Свирид знал, что станет писателем. Солидность, сопутствующая этому званию, как нельзя лучше сочеталась с тонким штрихом биографии: родился не где-нибудь, но в доме, и не в родильном, а в отчем. Странно, но он уже понимал разницу. Немного огорчала – хотя еще по малолетству не тогда, гораздо позднее – нехватка печати времени, так как дом возвели недавно. Но возвели на века, выдерживая увесистый стиль нешуточной эпохи; украсили гербами и звездами, снопами и серпами; пустили лепные, тяжелые и заслуженные ленты с намеком не то на чествование триумфаторов, не то на пышные поминки. А возле дома прохаживался молодой усатый милиционер. Всякий раз, отправляясь с матерью на прогулку и проходя мимо этого сурового воина, Свирид мысленно переносил его

на страницы несуществующей книги с картинками как иллюстрацию к собственным, еще не написанным рассказам и сказкам. Он не задавался вопросом: а почему, собственно говоря? – он принимал свою писательскую будущность как нечто решенное, не мысля для себя иного сценария. Этим он отличался от сверстников, которые все поголовно мечтали вырасти танкистами, летчиками, кавалеристами и молились на Чапаева. Правда, Свирид тоже молился на Чапаева.

Отец, уважаемый и заслуженный человек, командовавший целым флотом, относился к фантазиям юного Свирида снисходительно и всячески поощрял его знакомство с книгами, которых у Водыхановых было довольно много – преимущественно военно-морского содержания: справочники, атласы, руководства.

Свирид читал их запоем, восседая на пестром железном горшке. Больше листал, чем читал, ибо не постигал написанного. Хотя его воображение приковывала к себе одна страна – такая маленькая, что ее название на карте занимало намного больше места, чем она сама. Но книги как таковые, в своем предметном, но пока бессодержательном качестве, очаровывали его. С одной стороны, ему не хватало фантазии представить что-то свое, выдуманное, упакованным в строгий переплет и дополненным справочными таблицами – эти таблицы причудливым образом сочетались в его сознании с иллюстрациями к русским сказкам. С другой стороны, он бесповоротно уверовал в судьбу, которой ему было предначертано создавать похожие вещицы, то бишь книги, – выпекать их наподобие песочных куличей. Воображаемое совершенство ненаписанных фолиантов росло от издания к изданию; забывшийся на горшке, Свирид водил маленькой ладошкой по корешку, по титульному листу – однажды он даже, эксперимента ради, пошел на варварство и выдрал какую-то схему. Акт не озорства, а познания мира; ему, понятно, влетело, но не особенно сильно.

Свирид брал бумагу, карандаши; создавать титульные листы для будущих книг вошло у него в привычку и стало любимым занятием. Он взбирался на стул с ногами, елозил на четвереньках и на коленках, высовывал язык и перво-наперво выводил имя автора, украшая его неумелыми виньетками, а ниже, крупными буквами, писал главное: название. Оно обычно начиналось словом «тайна». Тайна того-то и тайна сего-то, но возможен был и другой вариант: загадка. Чего угодно загадка – канализационного люка, проходного двора, сивой кобылы.

Иногда он сооружал предлинное оглавление, но дальше дело не шло. Последняя глава всегда называлась «Последняя схватка» или «Конец такого-то, имярек».

Родители посмеивались. Бывало, что Свирид-старший, сидя в расстегнутом кителе и прихлебывая чай, прищурился на сына и затуманился лицом: интерес малыша к печатному слову одновременно притягивал и отпугивал. Опытный Свирид-старший хорошо знал, какой неожиданный вес могло приобрести в ту эпоху не то что печатное, но даже устное слово. И поневоле тревожился за будущее сына. Написанное – прежде всего документ, а уж потом всё остальное: повесть, роман, стихотворение; за документы же приходится отвечать. А Свирид, наигравшись в книгопечатание, носился себе по просторным и затемненным комнатам, где отовсюду покровительственно поблескивали медные, отменно надраенные приборы неизвестного мореплавательного назначения. Смерчем кружил по кухне, мороча голову домработнице, которая в притворном изумлении плескала руками; с разбега укладывался на живот и скользил по сверкающему паркету; показывал языки пыльным чучелам полярных зверей и птиц. Экспонаты располагались высоко и были ему недоступны, иначе он взял бы их в герои и персонажи. Поэтому в ненаписанные и непридуманые сказки попадали обычные игрушки – многократно собранные и разобранные, обсосанные во младенчестве, изученные вдоль и поперек, живущие общей со Свиридом жизнью, получившие существование достаточно независимое, чтобы действовать в его мыслях заманчивыми тенями с неисчерпаемыми, но до поры скрываемыми возможностями.

У него была одна любимая, неоднократно прочитанная и впоследствии прочно забытая книга, какое-то «Королевство», солидный фолиант в шоколадном переплете с красными и желтыми вкраплениями, которые, может быть, образовывали заглавие, а может быть, составляли самостоятельный узор. В этой книге сосредоточилось нечто, способное порадовать и зрение, и рассудок, и даже вкус, потому что в ее глянцевої плоти было взято не только от шоколада, но и от сливочной тянучки; кроме того, подобную вещь приятно держать в руках – добавим, следовательно, осязание, не говоря уж о нюхе: каждому мало-мальски понятливому, разбирающемуся в прекрасном человеке отлично известно, как заманчиво пахнут книги, особенно те, что потяжелее, с плотными страницами да намертво пропечатанными буквами, которые не чета тем нынешним, что размазываются в сажу, едва проведешь по ним пальцем.

Обитая среди множества старинных вещей и вещей, созерцая живительный натюрморт под названием «Абрикосы в сиропе крупным планом», обладая игрушками, среди которых попадались экземпляры дореволюционной ручной работы, маленький Свирид не задумывался над тем, откуда всё это взялось и как могло появиться в новом доме – это во-первых, и в семействе, образованном недавней голытьбой, – во-вторых. Отец, хоть и видный военный, начинал с малого и в юности был подмастерьем на каком-то мелком заводе; мать приехала на рабфак из орловской глубинки. Их семья не могла обрасти фамильными ценностями, и все предметы домашнего обихода свалились к ней не иначе как с неба, но непременно до появления на свет Свирида-младшего – этого было достаточно для него: если вещи существовали и раньше, когда его еще не было, то это означало, что они стояли, лежали и висели здесь всегда, дожидаясь прихода истинного хозяина, то есть его самого.

Когда началась война и Свирид-старший отправился громить неприятеля на морских рубежах родины, обманутой неожиданным нападением и униженной фантастическими потерями первых военных дней, маленький Свирид впервые увидел коллатераль. Неотчетливо.

Он понимал, что происходит нечто ужасное, и ему отчаянно захотелось, чтобы это ужасное прошло стороной и всё осталось как прежде.

Коллатераль обозначилась смутно, ибо виделась без напряжения воли. Чудесная способность Свирида еще только просыпалась.

В проеме, образованном напольными часами и резным ореховым комодом, ему явилось что-то похожее на букву «У». Две дороги разбежались перед Свиридом, теряясь в мутном желтоватом тумане. Казалось, что они кое-как освещаются тусклым уличным фонарем. Ножка буквы, потеряв завиток, вытянулась и всосалась Свириду под ноги. Левый рожок буквы «У» начал разбухать и расползаться, отодвигая и уничтожая правый, который быстро превратился в хилый прутик, а после пропал совсем. То, что осталось от буквы и уже ни на какую букву не похожее, заполнило собой всё помещение, перемешав домашний свет с фонарным, и Свириду показалось, будто он движется по этой букве, то бишь по одной из дорог, наметившихся перед ним.

Свирид так испугался, что не задумался над возможностями, которые предлагала развилка. Он сразу позабыл о правом рожке, истончившемся и пропавшем, и знал лишь одно: какой-то свет, не то чтобы враждебный, но равнодушный, наводнил собой комнату, ничуть не поколебленный тем обстоятельством, что Свирид уже вовсю ревел. Прибежала мама, прибежала домработница Валя; ничего от него не добились.

Тут подключилась и завывала сирена, объявившая воздушную тревогу; Свирида сгребли в охапку и потащили в метро.

Потом, по возвращении домой, когда всё вокруг неуверенно успокоилось и замерло в ожидании нового, еще худшего, Свирид соорудил рисунок: лучи, лучи, сплошные лучи, хотя никаких лучей не было, однако он не умел передать увиденное иначе. Буква «У» не получалась совсем: нужно было, чтобы она начиналась под ногами, уходила вперед и раздваивалась, но Свирид не имел никакого понятия о перспективе, да и себя самого никогда не изображал – не

приходило в голову. И еще мешали всё те же лучи, вдруг не оставившие на рисунке свободного места. Поэтому он ограничился буквой «У», парящей в воздухе над желто-зелеными линиями, означавшими свечение. Свирид привычно показал рисунок матери, но та ничего не поняла и пожалала плечами, а он не стал объяснять, так как и объяснять было нечего. Впечатление блекло, изглаживалось из памяти.

К вечеру воспоминание приобрело увертливое качество сна. Буква дразнила кончиком-хвостиком, который то и дело терялся. Еще можно было ухватить его, потянуть, выдернуть сон обратно, и Свирид будто шарил руками, ослепший, в погоне за улетевшим воздушным шариком, но шарил вяло, уже отвлекаясь на какие-то иные мысли. Тогда он еще не знал, что в его отдельном случае песенные слова «молодым везде у нас дорога» допускают буквальное понимание.

Он вяло рисовал себе букву «У» в облаках, портя лист за листом, пока ему не сказали, что с бумагой в военное время весьма тяжело и хорошо бы ему умериться в аппетитах. Действительно: писать и рисовать приходилось всё больше на каких-то обертках, чтобы не сказать хуже – на полях газет; избалованному Свириду такое и в голову не приходило. Он знал, что в отцовском рабочем столе наверняка найдется солидный запас. Но стол стоял запертый, как и отцовский кабинет, и всё это медленно превращалось в музей, хотя отец регулярно присылал бодрые треугольные письма. Музейные экспонаты было запрещено трогать руками. На отцовском столе всё осталось лежать так, как он оставил; домработнице строго-настроено запрещалось приближаться к этим папкам, книгам и перьям. Шторы были задернуты, слабо пахло папиросами и чем-то еще, неопределимым. Для Свирида-младшего не существовало преград, и он умыкнул-таки ключ: кабинет запирался. Обычно он брал себе что хотел, сугубо автоматически, не задумываясь и не ожидая встретить препятствия, однако здесь он собрался не сразу. С капризным раздражением он понимал, что дело выходит серьезное, но думал недолго. Свирид проник в кабинет, расположился возле стола на полу, распахнул дверцу тумбы и сразу же обнаружил кипу чистых бумажных листов, аккуратно сложенных в верхнем отсеке. Бумага была плотная и чуть желтоватая, Свирид взял себе добрую половину.

Но спрятать добычу не сообразил. Возможно, ему подсознательно хотелось быть пойманным, ибо совершилось по-настоящему тяжкое преступление. Его застукали очень скоро; он едва успел написать заглавие: «Загадочный свет». Буква «У», маленькая, уже стояла в правом верхнем углу листа, как будто знаменовала собой начинание серии.

Влетело не особенно сильно, однако бумагу отобрали, устроили целую демонстрацию. Медленно провели Свирида в отцовский кабинет, медленно сложили украденное на прежнее место. По ходу дела мать твердила, что «никогда, никогда в их семье не случалось воровства – ни по отцовской линии, городской, ни по материнской, деревенской». А домработница Валя даже светилась изнутри и поджимала губы, имея случай понегодовать и порадоваться, что в краже не обвинили, как это обычно бывает, прислугу.

2

Ко Дню Победы Свирид подросток достаточно, чтобы ликовать со всеми вместе и пестовать в себе предощущение прекрасного будущего, в котором теперь уж наверняка всё будет замечательно. Гремел салют; заряды, не выдерживая напряжения восторга, на миру умирали рассыпчатой красной смертью. Каждая вспышка отпечатывалась в сознании Свирида чувством причастности к победе – похоже было, что и он каким-то образом сумел победить и раздавить кого-то ночного и гадкого, в противогазе и белом халате. Ждали возвращения отца; тот задерживался. В последующие дни и недели всё чаще звучало озабоченное слово «Япония», но и оно не могло нарушить прочного чувства умиротворенности в целом. Какая такая Япония?

«Что это еще за географические новости?» – повторяли иные за Маяковским, хотя поэт имел в виду Польшу.

«Ничего», – заносчиво говорили вокруг.

И действительно – ничего; с подозрительной Японией разобрались удивительно быстро и снова не без участия отца, который теперь действовал на Тихом океане.

На эту глупую Японию, посмевавшую тягаться с народом-победителем, сбросили какие-то страшные бомбы; это сделали американцы, но Свирид почему-то считал, что без отца здесь не обошлось – ведь отец тоже воевал с Японией, а разве можно было что-нибудь сделать без его командирского ведома? Бомба, способная уничтожить город, это тебе не пачка бумаги из запертого стола!

Осенью он вернулся: квадратный, красный, усатый; в объятия к нему набились все, даже Валя, и отца хватило на всех – казалось, влезли бы и другие, найдись они, ибо отцовские руки непостижимым образом удлинились, а ладони увеличились и превратились в некие военно-морские лопасти.

Вечером собрались гости, всё больше военные. Они ужасно накурили, а разговаривали громко, отрывисто, то и дело заливаясь раскатистым хохотом; затопали сапоги под тягучий, словно повидло, мотив; патефонная иголка подпрыгивала, из-под двери в гостиную струился сложный туман. Младший Свирид, утомленный застольем, уже лежал в постели и постепенно засыпал под веселый грохот, который выравнивался, обретал монотонность и уплывал с папиросным дымом в форточку. Воображая себе этот полет, Свирид сонно чертил корявую ножку с парой усиков, похожих на букву «У». Давнишнее видение уже давно забылось, легло на грунт в компании затонувших кораблей, перевозивших драгоценные воспоминания из юной Америки в престарелую и жадную Европу. Поэтому Свирид оставался спокоен, и буква, явившаяся некогда в минуту отчаяния и страха, нисколько не потревожила его душевного равновесия. В его сознании она больше не связывалась ни с чем.

А на другой день, когда он проснулся, отца уже не было. Он уехал по делам, составлявшим государственную тайну. Свирид испытал неожиданное и недостойное облегчение: он настолько привык к отсутствию строгого родителя, что перспектива ежедневного совместного проживания пусть не пугала, но представлялась нежелательной, нарушающей обыденный ход вещей. Хорошо бы отец оставался где-то вдали, появляясь и отмечаясь единожды в месяц, а то и в полгода. Свириду недавно исполнилось девять лет, и он не умел и не хотел преобразовать помышленное в развернутое словесное рассуждение, да и не смел; он всего лишь почувствовал, что неприятное, постороннее присутствие отложилось до вечера, и это славно, это означает, что всё пойдет заведенным порядком.

Вечером Свирид увидел, что его затаенная неприязнь имела основания: отец вернулся донельзя мрачный, неразговорчивый. Вот и живи с таким!

О Свириде-младшем забыли.

Он взялся писать в дневник, который вел второй год и добросовестно заносил туда все до единого события минувшего дня – сам себе Босуэлл и сам себе Джексон. Но настроение выдалось неподходящее, и он не написал ни строчки. Он и не знал, о чем написать: ведь ничего не произошло. «Папа вернулся сердитый» – и всё? Можно было бы расписать свои страхи, связанные с этой сердитостью, – что его, например, могут выпороть за какой-то пустяк; можно было и дальше пойти, изложить свое отношение к подобным мерам, но ничего такого Свирид пока не умел. Он просто фиксировал факты, иногда добавляя личное: было интересно! Или: было скучно.

Отец с матерью заперлись в кабинете и не вышли, пока часы не пробили полночь. Свирид уже не застал их и спал, пуская слюну. У матери был непонимающий, обеспокоенный вид; Свирид-старший распространял вокруг себя водочный дух.

Наутро история повторилась – к удовольствию Свирида, отец уехал очень рано; вечером, уже к его неудовольствию, тот явился в крепком подпитии. Отказался от обеда, ушел в кабинет; через полчаса за ним пришли.

Уличные мальчишки, до которых Свирида старались не допускать – а потому он общался с ними редко, – любили травить истории о черных автомобилях, наполненных черными людьми; эти люди ночами разгуливали по лестницам, колотили сапогами в двери, забирали с собой целые семьи. Далее автомобили с людьми обрастали красными и зелеными руками, способными к автономному существованию и передвижению, о коем передвижении-приближении жестокое радио сообщало малышам, оставшимся дома без взрослых; руки и ноги заворачивались в черные, белые и красные простыни, передавая тем частицу своего могущества; получив прискорбную независимость, они летали по пустынным улицам, врывались в форточки, просачивались в щели, душили незадачливых малолетних жильцов. Свирид, обмирая, выслушивал эти истории, догадываясь нутром, что в рассказанном имеется доля какой-то ужасной истины. И эта чудовищная догадка подтвердилась, когда задрожала дверь и залился звонок – музыкальное сопровождение к требованию немедленно отворить.

Вошли трое: двое в гражданском, один же был одет по-военному. В дверном проеме замаячили дворник и некая женщина, кутавшаяся в платок.

Отец уже стоял в коридоре, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Гражданский шагнул к нему и молча вывесил перед носом бумагу.

– Не трудитесь, – презрительно усмехнулся отец.

– Сдайте оружие, гражданин Водыханов, – распорядился второй гражданский, мало чем отличавшийся от первого. Оба казались двумерными, словно вырезанными из бумаги. Тот, что был в форме, прибарахлился уже тремя измерениями, но всё равно был похож на мертвого и никогда не жившего игрушечного солдата.

Лицо отца быстро наливалось кровью. Свирид-младший видел родителя со спины, осторожно выглядывая из-за угла, и следил за одним лишь затылком с полосочкой шеи над воротом расстегнутого кителя. Полоска побагровела. Военный двинулся на отца, оттеснил его к стенке и сунул в лицо пистолет, а штатские быстро прошли по коридору и разделились: один направо, другой налево.

Тогда Свирид увидел коллатераль.

На этот раз ощущение было острее; одновременно Свирид знал, что сам творит эту коллатераль и ничего не может с этим поделать. Позыв оказался неумным. Намочить штаны, обкататься, пукнуть, чихнуть, икнуть, оформить коллатераль – всё это были вещи одного порядка, неконтролируемые.

Теперь уже весь мир превратился в букву «У».

Маленький Свирид стоял на пяточке, образованном завитком; правая буквенная нога, вобравшая в себя атакованную неприятелем квартиру, пролегла прямо и подсказывала единственный верный маршрут: идти по ней, по этой длинной правой ноге, пока не отсохнет левая. Этот путь был естественнее, однако Свирид не торопился с выбором – он и не вполне еще понимал саму возможность выбрать одно из двух. Ему было ясно, что там, по прямой, разгуливают мрачные люди, похожие на кладбищенских птиц; у них пистолеты, от них исходит опасность, они заберут или застрелят отца. И ладно бы только его, с этой потерей микроскопическое, но властное, подлое и могущественное существо, обитавшее в Свириде, еще могло примириться; «невелика потеря» – приговаривало оно, бесстыдное. Жили же без него. Но дело могло обернуться куда хуже: могли забрать и самого Свирида, и даже маму, а этого никак нельзя было допустить. Поэтому та же сила, которая понудила Свирида вообразить коллатераль, направила его к левой ноге. Сопrotивляться не было никакой возможности, воля Свирида была парализована. Он пошел и на развилке помедлил, всматриваясь в перспективу.

Канал-коридор, создававшийся левым рогом рогатины, имел в себе ту же квартиру. Ничто не отличалось в ней от квартиры первой, за исключением визитеров: их не было. Вообще прихожая пустовала. Из-за притворенной двери гостиной доносился звон посуды и мужские голоса.

Ребенку было понятно, что там безопаснее. А Свирид и был ребенком.

Ноги сами понесли его налево. Правый коридор, где рыскали страшные пришельцы, потускнел и затянулся пеленой. Предметы и люди в нем расплылись, голоса звучали будто из-под подушки. А левый коридор отяжелел, исполнившись яви. Свирид вошел в него очень быстро, почти бегом: он спасался. Им руководило древнее животное желание спастись сию секунду – не важно, что произойдет в следующую.

Задыхаясь от возбуждения, он обернулся. Опасная нога затуманилась еще пуще, а безопасная росла и расширялась, не оставляя места посторонним явлениям. И вот уже пространство замкнулось, имея в себе привычную прихожую. Свирид, однако, боялся пойти за дверь: в гостиной могли обнаружиться существа, лишь отдаленно напоминающие родителей и вообще людей. Ничто вокруг не указывало на такую возможность, но он уже ясно сознавал, что здесь – иное. Возможно, не до конца настоящее. Откуда он вышел, ему было ясно; куда попал – неизвестно.

Последним, что Свирид усмотрел в коридоре, уходящем вправо, был он сам, растерянно стоящий. Раздвоение не ощутилось – был один, стало двое. Полтора: второго (первого?) заволакивало коричневатой, фотографической желтизной.

Он подошел к вешалке, потрогал мамин зонтик. Обычная, правильная вещь. Слегка наподдал собственный валенок, валявшийся с зимы, – ничем не примечательный валенок. Свирид даже нагнулся и понюхал его: пахло старым носком – детским, не особенно вонючим. Из-за двери донесся смех – смеялся отец, и Свирид подумал, что настоящее, вполне возможно, именно здесь, а там, за плечами, остался опасный мираж, в котором он жил, сам того не зная. И он осторожно толкнул дверь.

3

В гостиной обнаружилось застолье. Младший Свирид, остановившийся на пороге, затаил дыхание. Мирная жизнь только налаживалась, многолюдные посиделки были редкостью. Это ему они показались многолюдными – на самом деле людей было не так много, всего пятеро: родители да те самые незваные гости, все трое. Двое в гражданском и один военный. Здесь, однако, они вели себя совершенно иначе: расслабленно дымили папиросами, смеялись, выпивали и закусывали. Идиллическая картина: у мамы на плечи наброшена шаль, папа прицелился из графинчика в длинную рюмку с тускло отсвечивающими гранями. Никто не совал под нос бумаги и пистолеты, никто не смел командовать отцом и не приказывал ему сдать оружие.

Не переставая смеяться, оглянулись на Свирида.

– Почему ты не спишь? – нахмурилась мама.

Тот попятился и тоже оглянулся: квартира была одна, единственно возможная. Ни рожек, ни ножек; из кухни тянет выпечкой.

Гость, одетый в военную форму, вдруг перестал смеяться и посмотрел на Свирида очень внимательно. Папироса застыла в руке, дым поднимался под абажур извивистым стеблем. Свирид онемел, ноги сделались ватными: сейчас он достанет пистолет, или развернет красную простыню, или докажет бумагами право в любую секунду вывести всех из-за стола и забрать с собой в ночь, где уже урчит уродливая машина.

Мама встала:

– Почему ты одет?

Свирид огладил себя: действительно, он был одет, ибо там, на развилке, еще не успел улечься в постель.

– Я забыл.

– Забыл – что?

Мать вышла из-за стола, порывисто прикоснулась ко лбу Свирида. Отдернула руку, будто ошпарилась.

– Лоб нормальный. Что ты городишь, о чем ты забыл? Спать улечься? Забыл, который час?

– Да пусть посидит с нами, – вмешался военный. – Смотри, – расстегнул он кобуру и достал пистолет. – Небось, подержать хочется?

Свириду не очень хотелось, не до того было; да и оружие он уже держал, отцовское. Но возражать не стоило. Он быстро подошел и взял пистолет обеими руками.

– Не заряжен, – успокоил военный маму. Он выехал на стуле из-за стола, нагнулся к Свириду, который держал пистолет и не знал, что с ним делать, – в другое бы время сообразил, хотя бы повертел в руках, но сейчас ему было неинтересно. Свирид ждал подвоха, не доверяя обманчивой надежности окружения. Военный взъерошил ему волосы и вдруг заметил: – Мальчонка-то изрядно оброс. Неплохо бы подстричься... Время еще, почитай, военное.

Свирид решил, что мужчина сказал так, потому что во время войны всем полагается выглядеть аккуратными и подтянутыми. Люди воюют, бьют врага, рискуют жизнью, а он разгуливает неряхой и напрашивается в особый уголок стенгазеты, где продергивают и пропесочивают. Он еще ничего не знал о тифе. Да тиф, пожалуй, и в самом деле уже не звучал, ибо война, только закончившаяся, была немного другая, не тифозная. Не та, что велась между своими.

– Ты знаешь, кто это? – хитро спросил отец.

Свирид помотал головой.

– Это товарищ Слотченко. Он служит парикмахером при Доме офицеров.

– И не только, – усмехнулся товарищ Слотченко, который сразу стал предельно понятным: дорисовался белый халат, взметнулась и свистнула бритва. – Еще при Доме писателей.

Свирид осмелел:

– А почему же вы тогда в форме?

Слотченко вздохнул:

– По-твоему, военную форму носят только солдаты и офицеры, которые сражаются на фронте? Она положена всем. Мы тоже солдаты гигиенического фронта и обязаны ее носить. Ведь война никуда не делась, – он сделал широкий жест, – она повсюду, она продолжается. Врагов у нас, Свирид, еще ой как много... И явных, и тайных. А сила всякого государства – она в ком? В писателях и офицерах. Это соль соли земли, как говорил один великий писатель. Правда, он говорил вообще...

Свирид слушал его серьезно, с опущенными глазами.

Слотченко обернулся к остальным, сидевшим за столом:

– Да многие ли у нас не носят формы?

Мать покачала головой:

– Разве что я...

– И это упущение! – весело воскликнул Слотченко, а отец взялся за графинчик.

– Свирыка и вправду зарос, – заметила мать, провожая графинчик наполовину любовным, наполовину тревожным взглядом.

И все опять воззрились на Свирида. Они с отцом, когда бы не шевелюра младшего, были похожи как две капли воды, как две полярные совы – в них было нечто от хищных птиц, но заводить речь о совах уместно было, только если судить по глазам: округлым, с темными ободками. Однако носы их, или клювы, если продолжить сравнение, были совсем не совиные – вытянутые, чуть загнутые, с раздвоенной шишечкой на конце.

- Вот тебя Николай Володьевич и подстрижет, – улыбнулась мать.
 - Да уж, это теперь решено, – согласился Слотченко.
 - В Доме офицеров? – недоверчиво спросил Свирид.
 - Мне же говорили, что ты будущий писатель? – развел руками тот.
- Свирид не ответил. Ему вдруг стало стыдно.
- Приходи в Дом офицеров, – решил Слотченко.
 - Правильно! – гаркнул отец. – Пусть там понюхает...

Неизвестно, что он имел в виду. Адмирал Водыханов уже захмелел и тяготел к словесным клише. Двое в гражданском не вмешивались в беседу и чинно уплетали всё подряд, граблями гребли. Свирид обратил внимание, что стрижка у обоих была очень короткой. А Слотченко вдруг свернул губы трубочкой и тихо дунул на Свирида.

Тот непонимающе уставился на военного парикмахера. Слотченко повторил, и Свирид прислушался.

«У», произнесенное шепотом, даже не голосом – только выдохом-дуновением.

Николай Володьевич подмигнул:

– Я подарю тебе ножницы.

Лишь в эту секунду Свирид обнаружил, что всё еще держит в руках незаряженный пистолет.

4

Дом офицеров находился неподалеку – две остановки трамваем. Нужно было свернуть с набережной в маленький переулок, дойти до перекрестка, и там останавливался двадцатый номер. Свирида отпустили одного: настоял отец, хотя домашние твердили ему о страшных бандах, расплотившихся в городе после войны, которые ловят именно детей, и как раз свиридов.

– А потом – на базар, конечно, – саркастически усмехнулся отец. – Менять на крупу.

Он выдал сыну деньги на билет в оба конца и строго-настрого наказал нигде не задерживаться и никуда не ходить помимо парикмахерской.

– Тебе повезло, что ты познакомился с товарищем Слотченко, – значительно добавил адмирал Водыханов. – Ты знаешь, кого он стриг и брил? То-то же.

Он так и не уточнил, кого же стриг Слотченко, – очевидно, припомнил, что некоторых клиентов последнего не следует называть вслух, тем более при ребенке, ибо их имена уже истерты из учебников и старательно изглаживаются из народной памяти.

Но Свирид и не просил уточнений.

«Наверно, Ленина», – решил он и больше об этом не думал. Кандидатура Сталина не пришла ему в голову, ибо Сталина не мог стричь никто.

Свирид, приодетый наилучшим образом, вприпрыжку спустился по лестнице и выбежал на свежий воздух. Осень надвинулась на него с кокетством перезрелой матроны из примадонн, приветствовала сентиментальной сыростью мостовой с остатками грима в виде разлапистых кленовых листьев; дворники трудились исправно, но за природой не поспевали. «Еще недавно было лето, – промелькнуло в голове у Свирида. – Буквально вчера. Как же так?» Внезапно он понял, что лето и вправду было, оно заканчивалось, но было не с ним, оно было с личностью, воспоминание о которой ощутилось до того неприятным, что Свирид моментально забыл о погоде и устремился за угол. Эта личность навечно осталась стоять в коричневатом коридоре, с недоуменным и укоризненным видом.

Трамвай номер двадцать довез его до монументального здания с колоннами, занимавшего два квартала. Парикмахерская располагалась с торца, и это немного разочаровало Свирида, вообразившего, как он с осознанным правом поднимается по величественной парадной лестнице. Но дверь ничем не уступала дверям, которые принято содержать в местах государ-

ственного пользования: двух– или трехметровая (невысокому Свириду почудилось, что пяти), цвета насыщенной подозрительности, с толстой ручкой, за которую пришлось взяться двумя руками, и сразу запахло крепчайшим одеколоном.

Посетителей не было. Слотченко, набросив поверх гимнастерки белый халат, сидел в кресле, предназначенном для клиентов, смотрелся в зеркало и курил папиросу. Любоваться ему было особенно нечем: изжелта-темное лицо с деталями, разбросанными так себе, довольно беспорядочно – нос туда, губы сюда. Про такие лица иногда говорят: высечено из камня, но Слотченко, пожалуй, никто и не вытесывал; черты его содержались в этом камне от природы, а сам камень валялся где-нибудь в придорожной пыли, был подобран скучающим Создателем и по-хозяйски положен в карман небесных штанов. Возможно, это был редкий камень – например, метеорит, явившийся из мировой пустоты.

Позади Слотченко к стенке было присобачено радио, которое назидательно зачитывало некий бесконечный доклад о положении дел в области их планирования и в случае их невыполнения.

При виде Свирида, робко остановившегося на пороге, Николай Володьевич оживился и проворно вскочил.

Свирид замешкался и дальше не шел. Что-то замаячило перед ним: как будто очередная буква? Но Слотченко юмористически нахмурился, погрозил ему пальцем, и видение отступило.

– Желаете подстричься, молодой человек? – Николай Володьевич стал быстро застегивать на себе халат.

– Так точно! – выпалил Свирид. Он почему-то решил, что парикмахеру понравится именно такой ответ. Ведь они как-никак находятся в Доме офицеров. Подстригаясь, Свирид выполнит почетную воинскую обязанность.

– Под ноль? – прищурился тот, берясь за кресло.

Здесь уже Свирид не знал, что ответить. Можно и под ноль. Всех стригут под ноль, сплошь и рядом. Ему, правда, хотелось чего-то особенного, но он не имел понятия, как это назвать.

– А челку можно немножко оставить? – пискнул он.

– Обязательно, – почему-то очень серьезно кивнул Слотченко. – Усаживайся поудобнее. Я видел, что ты сделал.

Свирид перестал дышать – может быть, потому что вдруг объявился человек, имеющий некоторое представление о его тайне; возможно, что и полное представление... А может быть, всё дело было в том, что парикмахер слишком сдавил ему горло, затягивая простыню.

– Я видел, что ты сделал, – повторил парикмахер, – и потому оставлю тебе челку. Нельзя состригать всё. Ты знаешь, что в волосах скрывается великая сила?

Свирид молчал, лицо его пылало, как при скарлатине. Сначала он думал пискнуть, что якобы ничего не делал – не понимает вообще, о чем идет речь. Спустя секунду он передумал пискнуть.

Слотченко зашел сзади, и ножницы лязгнули.

– Ты не один такой, – сказал он с торжественностью, переходившей в безучастность, как и положено в стране, где подвиг становится рядовым событием. – Я тоже умею выходить на коллатераль, и не только я. Таких людей не очень много, и это хорошо, потому что они направляют событиями и направляют историю. В основном это писатели и офицеры. Ты понимаешь, о чем я говорю?

Свирид мотнул головой, и Николай Володьевич резко отдернул руку с ножницами.

– Не вертись, пораню! Так понимаешь или нет?

– Что такое колла... – Свирид не закончил, закончил парикмахер:

– ...тераль, – кивнул он, и Свирид увидел этот кивок отраженным в зеркале. – Это запасной путь. Другой. По-научному – альтернативный. Когда тебе очень хочется, ты можешь пойти по другому пути. Например, в таком исключительно неприятном случае, который стал разворачиваться у вас дома. Это большой дар, талант, его необходимо развивать.

– Зачем? – спросил Свирид.

Ножницы зависли над макушкой.

– Хороший вопрос. Необходимо, но не всегда. Иногда его надо душить в зародыше. Ты представляешь, какая начнется путаница, если таких людей станет слишком много? Придется пропалывать. Для этого и существует, в частности, парикмахер при Доме офицеров и Доме писателей. Он отнимает силу... я отнимаю силу. Вот этим. – Слотченко пощелкал ножницами. – Имеющий силу способен отнять ее у другого имеющего силу.

– И вы отнимете? – пролепетал Свирид. Он был готов отдать свою непонятную силу добровольно, без стрижки. Слотченко теперь настолько пугал его, что страхи Свирида утратили очерченность и превратились в клубящийся комок ужаса.

Николай Володьевич усмехнулся:

– Существует разрядка. Знаешь, что это такое? Можно оставить, скажем, десять человек из ста. А девяносто расстрелять. – Он улыбнулся. – Шучу, не бойся. Разрядка еще не выполнена, а ты – сын моего товарища. Поэтому ты останешься при силе – разве что немного поделишься со мной, но иначе нельзя. Надо делиться. А потом ты станешь парикмахером.

– Хорошо, – кивнул Свирид. Салон стал двоиться и делиться на рожки, но Николай Володьевич отстриг еще одну прядь, и двоение прекратилось.

– Быстро же ты соглашаешься, – пожурил Свирида Слотченко. – Разве ты не хотел стать писателем?

– Хотел. – На глазах у Свирида выступили слезы.

– А что мешает быть одновременно писателем и парикмахером? Кто тебе запрещает писать?

Мальчик всхлипнул.

– Никто не запрещает, – сам себе ответил Слотченко. – Во всяком случае, пока. Смотри что напишешь. Ты будешь стричь талантливых людей, сильных людей... частица их силы будет передаваться тебе. Ты будешь тренироваться... ведь до сих пор ты раздваивался не нарочно, так? Это получалось само собой?

– Я не хотел, – прошептал Свирид.

– Именно так. А со временем захочешь – и сможешь. И пойдешь в коридор, который тебе больше понравится. И все остальные отправятся туда за тобой.

Свирид набрался храбрости и спросил:

– А что происходит с первым коридором?

Слотченко вскинул жидкие брови:

– Кто ж его знает? Он сам по себе... Там всё идет, как шло...

– Но я же там остаюсь? Я видел себя...

– Остаешься. Но это уже другой ты. Какое тебе дело до того, другого? Ему сейчас, может быть, голову отрывают – ты разве чувствуешь?

– Нет.

– Ну вот, – удовлетворенно кивнул Николай Володьевич и взялся за машинку.

Свирид смотрел на себя в зеркало – носатого, с оттопыренными вдруг ушами, красного и заплаканного.

Однако он понял, что парикмахер не собирается причинить ему зло. Уверенности прибавилось, и он задал вопрос более отчаянного свойства:

– А вы? Вы тоже были там, в квартире. Почему вы не помешали мне? Ведь вы пришли... и там вы не были парикмахером...

Слотченко глубоко вздохнул и на миг прекратил работу.

– Во-первых, был. Совмещал. Во-вторых, я был не против того, что ты сделал. Твои родители мне симпатичны. Их пришли арестовывать...

– А если бы я ничего не сумел?

– Тогда и я бы не стал, – признался парикмахер.

– Но ведь они вам симпатичны...

– Не настолько. К тому же не забывай: в том колене... на той коллатерали они провинились, они оказались врагами. Не просто врагами – американскими шпионами.

– А здесь они не враги?

– Пока таких сведений нет, – сурово ответил Николай Володьевич. – Освежиться не желаете, молодой человек?

Свирид и сам не знал, желает ли он освежиться. Наверное, следовало соглашаться, потому что одеколоном пропахла не только парикмахерская, но и весь Дом офицеров от подвала до чердака – Свириду почему-то казалось, что это так. Хочет ли он приобщиться к этому Дому, сделаться его частицей? Не особенно. Но в предложении Слотченко слышалось, скорее, не дежурное приглашение, а желание испытать. Отказ, пожалуй, навлечет на Свирида немилость.

Он согласно кивнул. Послышалось дробное шипение, и резкий запах тысячекратно усилился. Шею и затылок Свирида приятно защищало.

– Молодец, – похвалил его парикмахер и ловко распеленал.

Свирид не решался встать с кресла. Он догадывался, что разговор еще не окончен. В предбаннике по-прежнему было безлюдно, ни одного офицера. Николай Володьевич выдвинул ящик, вынул обычного вида ножницы, совсем новые, и протянул Свириду.

– Держи и не теряй. Но пока ни на ком не пробуй... ты меня понимаешь. Я имею в виду тренировки – на кошках, собаках, товарищах. Тренировать тебя будет товарищ Мотвин. Не в парикмахерском деле, с этим я и сам справлюсь, – в другом. Он сам тебя найдет и вызовет.

5

Со временем, когда Свирид научился вполне сознательно переходить на коллатераль, и даже позднее, много позднее, он в мыслях неоднократно возвращался к знакомству с обещанным товарищем Мотвиным, предпочитая отсчитывать события не с первого расплывчатого видения буквы «У», не с обыска и даже не с посещения парикмахерской, а с этой встречи. Свирид много читал, и сказок среди прочитанного было достаточно, а потому он успел составить стереотипное представление, в частности, о колдунах. Никогда не встречавшись ранее с колдуном и заранее исключая возможность его существования, он тем не менее прекрасно знал, как тот выглядит: седой, косматый, разумеется – сгорбленный, желательно с посохом; на голове у него возможен колпак со звездами, не исключается мантия. Крючковатый нос, крохотные колючие глазки, беззубый шамкающий рот, скрипучий голос – что еще? какие шаблоны подсказывает нам круговорот прочитанного из подсознания и обратно? ведь ясно, что этот образ явился не из пустоты и что безымянные сказочники исправно передавали изустно и письменно лишь то, что являлось им в умозрении; попав на глаза или в уши, сей образ успешно сочетался мистическим браком с оригиналом, который где-то и когда-то существовал. Читатели и слушатели оказывались, таким образом, вполне подготовленными именно к такому восприятию колдуна. Впечатление, произведенное на Свирида товарищем Мотвиным, было удивительно тем, что полностью, огорчительно даже совпадало с уже представленной колдовской наружностью. Точно таким и выглядел товарищ Мотвин – сухим, сгорбленным, седобородым стариком с крючковатым носом и прочим, не станем повторяться. Конечно, на нем не было ни мантии,

ни колпака; товарищ Мотвин был одет в общепринятую военную форму, отчего казался еще страшнее.

Свирид, покидая парикмахерскую Дома офицеров, полагал, что обещанное знакомство и соответственно обучение начнутся незамедлительно. Уже вечером к ним на квартиру явится вестовой с пакетом лично для Свирида, и отец ничего на это не скажет, а только сурово кивнет и после ни о чем не спросит.

Но никакого пакета не принесли. Эстафета поколений не состоялась.

Пили чай; мать хвалила Николая Володьевича за умелую стрижку. Того с ними не было, чаевничали в семейном кругу.

Свирид лег спать, чувствуя себя не то чтобы обманутым – скорее разочарованным. Его секрет оказался никаким не секретом, а навыком, которым владеют многие люди; Свирид же предпочитал считать себя исключительным, отличным от многих. Мечты о писательстве в какой-то мере помогали, но страшный секрет неизмеримо усиливал это чувство избранности; теперь Свирида отчасти лишили опоры. Несколько утешало, что он попал в общество людей особенных. В конце концов писателей тоже много, даже великих, и не бывает одного на весь мир писателя.

Но почему он так решил? А если бывает?

Возможно, существует коридор, где в мире живет один-единственный писатель – великий, естественно, и ему имя – Свирид Водыханов.

Сон топтался при дверях: не велено пускать; Свирид напрягся, воображая букву. Но что-то произошло – он и прежде нет-нет, да и пробовал вызвать развилку самостоятельно, и у него ничего не получалось, но в животе возникало сосущее ощущение, намекавшее, что он близок к задуманному, только не имеет еще достаточной сноровки. Сегодня же этого ощущения не было. Он сразу вспомнил, как Слотченко сказал, что надо делиться. Часть силы Свирида осталась у Николая Володьевича – на простыне, на полу... Чем угодно делиться, но только не этим! Свирид решил никогда больше не стричься в Доме офицеров. Если, конечно, ему позволят выбирать.

Выбирать ему, как легко догадаться, не позволили – ведь Николай Володьевич так замечательно стрижет, – и Свирид посетил Дом офицеров еще не однажды; волосы отрастали быстро, и он побывал там и осенью, и в начале зимы. Слотченко встречал его равнодушно, на беседы не шел – наверное, посмеиваясь про себя над неуклюжими попытками Свирида вызвать его на откровенность. Иногда посмеивался не только внутри: позволял себе хохотнуть и скандовать: «Отставить!» Скупно пояснял, что не время еще, что они – он говорил о себе во множественном числе, имея в виду, конечно, тайное сообщество, – ждут начала какого-то созревания. «Полового!» – значительно уточнял Слотченко и крепко сжимал губы, словно показывая, что и так сказал слишком много, выговорил вообще непозволительную вещь – единственно из глубокого уважения к Свириду. Последнему в сказанном слышалось что-то знакомое, удивительным образом перекликающееся с неприличными и не совсем понятными историями, которые он нет-нет, да и слышал от старших мальчишек. Свирид серьезно надувался, изображая из себя понимающего мужчину, каким-то бесом исхитрившегося перескочить через это самое созревание и сразу сделаться зрелым взрослым.

Однако зимой товарищ Мотвин был все-таки явлен Свириду – вернее, всё произошло наоборот: Свирида вызвали к директору, посреди урока.

Тот прошел через холодную школу, звонкую строевым эхом, вошел в кабинет. Директор, усатый и тяготеющий к ёрническим шуточкам фронтовик, почему-то не сидел под портретом Сталина, а стоял навтыжку, тогда как посетитель – именно товарищ Мотвин – сидел в кресле, положив ногу на ногу. На плечи Мотвина была наброшена шинель с полковничьими погонами. Он выглядел таким старым, что и звание фельдмаршала не оправдало бы его службы: древний и

жуткий дед. Мотвин сосредоточенно дымил махрой, соорудив себе огромный – как выразились бы десятилетиями позднее – косяк.

– Вот, товарищ полковник, – заговорил директор, когда Свирид еще только входил в кабинет. – Это и есть Водыханов.

Старик медленно повернул голову, будто скрученную узлом из разошедшегося древесного корня; молча смерил Свирида взглядом. Широкий рот Мотвина жадно приоткрывался, выпуская дым. Старик полез в нагрудный карман и вынул очки, оправленные в тончайшую, почти невидимую проволоку. Он долго рассматривал сквозь них Свирида, потом обратился к директору:

– Как он учится, товарищ директор?

Голос оказался под стать хозяину: прокуренный, сиплый.

– Прилично, товарищ полковник. По всему видно – старается. Конечно, не без греха...

Мотвин неожиданно рассмеялся и заговорил о чем-то своем, без всякой связи с вопросом:

– Твердишь им сотню раз – надо брать их, когда еще сосунки... Нет, они предпочитают дожидаться, когда взорвется обмен веществ. А потом понаделают дыр, с молодецкой-то удалью... потому и последствия такие страшные. – Он замолчал надолго, директор и Свирид смиренно ждали. – У тебя, небось, на девок уже встает, правильно?

Покраснел не Свирид, покраснел директор. Свирид сообразил, о чем идет речь, и понял, что при таком интересе он просто обязан смутиться, ибо его спросили о гадкой, ужасной вещи, спросили запросто, как спрашивает уличная шпана. Однако он не почувствовал смущения. Он только знал, что отвечать, скорее всего, нельзя, и не ответил.

– Подойди сюда, – приказал Мотвин.

Свирид, изображая нечто вроде строевого шага, приблизился к креслу. Тогда полковник заглянул ему в глаза, и Свирида парализовало. Он не мог уклониться, не мог моргнуть; между ним и стариком образовались невидимые тяжи.

– Двойка, – пробурчал Мотвин.

– Он хорошист, – осмелился вмешаться директор.

– Я не о том. – Полковник раздраженно отмахнулся. – Будешь учиться у нас? В свободное от основных занятий время.

– Будет, товарищ полковник, – заверил его директор.

– Молчать, – негромко посоветовал ему Мотвин. И вновь принялся за Свирида: – Так будешь или нет?

– Буду, – ответил Свирид, не видя для себя иного выхода, хотя в животе уже начинала расти знакомая буква, так что иной выход мог и наметиться.

– А ведь не хочешь, – усмехнулся полковник и выпустил в лицо Свириду такую струю махорочного дыма, что разом увяла не только зарождавшаяся буква «У», но и другие буквы, которые не обладали волшебными свойствами и складывались в обычные трясущиеся слова.

– Водыханов! – не выдержал директор. Он решил, что Свирид для него, директора, незаметно подал полковнику какой-то недопустимый знак, обнаружил строптивость. – Тебя приглашают в органы, а ты еще смеешь...

– Нет, ну какой же все-таки дурак, – пробормотал Мотвин. И громко сказал, умышленно разбивая и подчеркивая слова так, что речь его зазвучала на шутовской манер: – Да, именно, Водыханов, тебя приглашают на специальные курсы, учиться на органы, а ты почему-то не хочешь!

Свирид окончательно растерялся.

– Я хочу, – промямлил он, догадываясь, что ничего от этого не выиграет и не потеряет.

Директор вынул из кармана платок и промокнул лоб.

– Осчастливил, – буркнул он с облегчением. – Еще не понял, как тебе повезло. Отец-то как будет гордиться...

На лице Мотвина изобразилось такое тоскливое отвращение, что Свирид вдруг испытал к нему признательность и симпатию. Он не любил директора – мало кто любит начальство. А этот старик не боялся держаться с ним свысока и не скрывал своих чувств.

Директор, обрадованный тем, что дело худо-бедно идет на лад, всё больше оживлялся и располагался к болтовне:

– Стрелять научись! Шифры узнаешь разные секретные, потайные ходы...

– Вам ведь было приказано молчать, – устало перебил его полковник и встал. Поправил шинель. Сделал движение, как будто хотел погладить Свирида по голове, или потрепать по щеке, или, возможно, почесать за ухом, – но рука, непривычная к подобным манипуляциям, остановилась на полпути и замерла в воздухе, как змея, прикинувшаяся сухой веткой. – Завтра после уроков придет машина. Быть в полной готовности. Вопросы есть?

Теперь Свирид душевно объединился с директором. Оба вытянулись и помотали головами. Оба, сами того не сознавая, ждали, что старик на прощание отколет какой-нибудь презрительный номер, барский и хамский одновременно: сплюнет на ковер, выпустит газы, выйдет не попрощавшись. Мотвин ничего такого не сделал – простаться, правда, и в самом деле не стал, если не считать прощанием еле заметного, неопределенного жеста, сотворенного ожившей вдруг рукой. Он вышел, а директор предложил Свириду воды. Тот согласно кивнул, и директор налил ему полный стакан из большого казенного графина.

6

Занятия начались страшно.

В скором времени Свирид понял, что это было залогом их успешности, необходимым условием. Но до недавнего времени он совершенно иначе представлял себе внеклассные занятия. Перед глазами сразу возникала картина, которую Свирид частенько наблюдал в окно: незнакомый мальчишка, опаздывающий на урок, тащит огромный музыкальный инструмент в допотопном футляре.

Конечно, Свириду было ясно, что никаких инструментов не будет. И он терялся, воображая разные глупости: как его заставляют присесть или отжиматься, гоняют по кругу, а то и в самом деле учат стрелять из револьвера. Само слово «тренировка» наводило на подобные мысли о физкультуре и спорте. Но тренировка будет связана с буквой «У». Как же вырабатывается умение свободно и по желанию руководить буквой «У»?

Оказалось, что оно вырабатывается очень просто.

На первом же занятии, когда машина отвезла Свирида после уроков в какой-то приземистый двухэтажный особнячок без опознавательных знаков, Мотвин, встретивший их с водителем на пороге кабинета, заперся со Свиридом наедине и быстро схватил его за яйца.

У Свирида всё поплыло перед глазами, завертелось по часовой стрелке: пыльные шторы, чучело рыси, глобус, зеленый письменный стол, раскрытый портсигар и лично Мотвин, который зашипел, обдавая мальчишка утробным смрадом:

– Беги!.. Беги!.. Беги!..

Свирид, ничего не соображая, дернулся. Полковник, в зубах у которого торчала неизменная, как теперь становилось ясно Свириду, вонючая самокрутка, свободной рукой, острыми пальцами ткнул его в живот.

– Не туда!

Он немного ослабил хватку. Окружающий мир шатался, как будто изрядно принял на грудь. Слезы текли по щекам Свирида, изо рта вырывалось прерывистое дыхание.

– Ты никуда не уйдешь, ты не выйдешь отсюда, тебе уже не вернуться домой, – зашипел проклятый старик и стиснул кулак.

Тогда она появилась, буква. Она словно поднялась с пола, где плашмя лежала давно, теперь влекомая невидимым тросом. Не зародилась где-то в глубине Свирида, но явилась извне: огромная, четкая, и оба рога были дорогами; объемная буква не имела себе предела в толщину, и задних стенок у нее не было, вертикальные коридоры уходили в бесконечность. Налево пойдешь – головы не снесешь, направо... Свирид обнаружил себя, захваченного Мотвиным, на самой развилке, чуть ближе к левому рогу; его же образ и образ полковника, продолжавшего его удерживать, множился в левом роге, как в зеркалах. На лице Мотвина появилось выражение мучительного ожидания, смешанного с любопытством. Правый рог был пуст... нет, не так, он ошибался. Там тоже были Свирид и полковник, однако на коллатерали они разделялись письменным столом: Мотвин сидел и курил, укутавшись в шинель, а Свирид стоял и чего-то ждал; оба дернулись и пропали, кабинет полковника опустел. Свирид рванулся в правый коридор и сам поразился, насколько быстро и неощутимо изменилась ситуация. Впрочем, почему? – она изменилась очень даже ощутимо. Никто не лез Свириду в штаны, нигде не болело. Мотвин сидел за столом и удовлетворенно кивал – мелко-премелко; возможно, он не кивал, и то была всего-навсего старческая склеротичная дрожь. Свирид стоял перед столом и краем глаза провожал левую, только что покинутую, коллатераль, где полковник сжимал его всё сильнее и сильнее. Он успел заметить, как сквозь кулак брызнула кровь.

– Недурственно. – Мотвин, восседавший за столом, одобрительно вытаращил глаза. Встретив непонимающий взгляд Свирида, он счел нужным пояснить: – Я пошел за тобой. Я умею ходить по чужим коллатералиям.

Он вышел из-за стола и присел, кряхтя, перед Свиридом на корточки. Протянул руку, и тот взвыл от боли: история повторилась. Никто не явился на крики – очевидно, в кабинете полковника кричали не впервые. Мир задрожал, полезла буква «У».

– На этот раз ты не пойдешь на коллатераль. – Мотвин вынул свободной рукой изо рта самокрутку, положил ее в пепельницу тусклого серебра: застывший пруд с безутешной девой над остановившимися водами. – Я не пущу тебя. Думай. Коллатералей не две, мой милый, их намного больше.

Боль затопила пространство и отодвинула время; наметились коридоры, две штуки, и в обоих Мотвин продолжал заниматься злодейством.

– Беги!.. Беги!..

– Куда? – давась слезами, спросил Свирид.

– Ищи!.. След, бери след!..

И как его взять – чутьем, по-собачьи? Нос заложило, и запахов не осталось.

– Смотри мне в глаза!

Это было гораздо хуже боли, и Свирид не послушал Мотвина. В глазах немедленно потемнело так, что обе коллатерали начали проваливаться.

– Что ты видишь? – проскрежетал вопрос.

– Букву... Букву У...

– Ищи! Алфавит позабыл?

...Буква «Ш» появилась так неожиданно, что ошарашенный Свирид на мгновение отрешился от боли. Три коридора; в двух, левом и среднем, – дальнейшие истязания, в правом – мир и спокойствие: Мотвин восседает за столом и прихлебывает черного цвета чай из стакана с подстаканником. Позвякивает ложечка. Свирид стоит и что-то жуёт. Картина исчезла, едва успев народиться; теперь коридор был пуст, но Свирид уже разобрал, куда ему нужно, и через секунду, всё еще всхлипывая, принимал от Мотвина карамельку в затертой обертке – не иначе, полковник давно носил ее в кармане кителя. Может быть, она пролежала там всю войну.

Он боялся развернуть карамельку, так и стоял, зажав ее в кулаке. Он и не хотел ее разворачивать, было противно, потому что от конфеты вдруг остро потянуло стариковством. Казалось, что в фантик завернут некий экстракт, вытяжка затхлости и застоя, импотенции, недержания мочи, бессонных ночей, вороньего карканья-кашля, загробных предчувствий, рассыпающейся памяти.

На сей раз полковник остался сидеть на месте. Он отхлебнул из стакана, шумно сглотнул и равнодушно изрек:

– Есть и другие буквы. Даже китайские иероглифы попадают. Видел их когда-нибудь? Свирид отрицательно мотнул головой.

– Я тебе при случае покажу... к нам скоро должны приехать китайские товарищи. А есть и кое-что еще, не похожее даже на буквы. Скорее, на снежинки... или на ежей. Уж ежа-то видел небось, когда оцетинится?

В голове у Свирида всё перемешалось. Видел ли уж ежа? Наверное, видел.

– Ну вот, – одобритительно кивнул Мотвин. – Что ты трясешься, как осиновый лист? Разве тебе сейчас больно?

Больно не было. Неожиданно Свирид осознал, что да, это так: он чувствовал себя замечательно, как всегда, как будто никто не хватал его и не мучил. И еще: он уяснил для себя кое-что важное. Ему вдруг очень захотелось увидеть ежей и снежинки, и он понимал теперь, что старик желает ему – добра?

Это плохо вязалось с Мотвиным во всех его проявлениях. Ну, не добра – во всяком случае, желает ему ежей и снежинок. И правильнее будет подчиниться и впредь не вопить.

Но он, конечно, вопил снова и снова, ибо животное начало брало верх.

7

В занятиях, которые полковник Мотвин проводил со Свиридом, не было ни грана теории. Свирида возили к нему по два раза в неделю – примечательно, что одноклассники ни словом не обозначили своего любопытства. Кружок и кружок. Не иначе, их кто-то предупредил, а может быть, сами почувствовали, что спрашивать не следует – времена стояли из тех, когда чутье обостряется даже у несмышленишей.

Свирид же, вполне освоившийся в обществе Мотвина, позволял себе разного рода вопросы, особенно интересуясь судьбой покинутых коллатералей. Слова Слотченко о том, что в этих нелюбезных и негостеприимных коридорах Свириду могут откручивать голову, произвели на него сильнейшее впечатление.

Мотвин, завершив очередной сеанс, утомленно цедил в ответ:

– Много миров. Тысячи, миллионы. В каких-то мы есть, в каких-то неплохо обходятся и без нас. Есть миры, которые отличаются от нашего только фактурой туалетной бумаги. Понимаешь, что я имею в виду? Количеством тараканов. Породами собак. Пятном на рубашке.

Свирид отвечал, что да, понимает, но из того, что он не унимался, явствовало обратное. Хотя у них в доме бывала дефицитная туалетная бумага вместо настриженных газет – всё время, правда, одной фактуры.

Полковник с ожесточением проводил рукой по своему угловатому черепу.

– И болван же ты! Сказано ведь – миллион миров. Миллион Свиридов и миллион Мотвиных. Что, тебе за каждым хочется уследить?

До Свирида в конце концов доходило, что это было бы затруднительно. Тут же рождался новый вопрос:

– А как же быть с коридорами, куда мы переходим?

– Как быть... Что такое – как с ними быть? Ты о чем вообще?

– Ну, если мы там тоже существуем, то куда же мы, тамошние, деваемся, если приходим туда отсюда? Мы что – сливаемся? Или те, что были там до нас, куда-то деваются, убегают, умирают?

Мотвин недовольно крутил головой. Неугомонный паренек выискивал проблемы, над которыми сам он за ненадобностью никогда не задумывался.

– То есть? – осторожно переспрашивал полковник, затягивая время.

– Ну, я в смысле – не выпихиваем ли мы оттуда кого? Самих себя?

Мотвин терялся и спешил закурить.

– Ты философ, – усмехался он неприязненно. – Поменьше философствуй. Был такой философский пароход – может быть, слышал? Ну, откуда тебе... Посадили таких вот философов скопом на пароход – всех, кого сумели отловить. Я и сажал... И отправили эту контрреволюцию, к дьяволу, за бугор. Надо было пустить их ко дну, да говно не тонет...

Свирид розовел от удовольствия. Полковник говорил с ним на равных, позволяя себе запретные словечки, за которые Свирида секли.

Мотвин не отговаривался – слагая филиппики в адрес философствующей контрреволюции, он продолжал думать над вопросом. И отвечал:

– Никого там нет, покуда мы не придем... Там всё еще только становится, образуется, сплошные возможности и ничего определенного. Но стоит нам там очутиться, как всё затвердевает и делается реальным.

Говоря это, полковник искоса поглядывал на своего ученика: не повторит ли он где эти речи? Потому что от них за версту несло субъективным идеализмом, солипсизмом, агностицизмом, махизмом и прочими пароходно-философскими вещами, в которых Мотвин не разбирался, но отчетливо понимал, что они не имеют ничего общего с марксистско-ленинским учением.

Наконец пустопорожние разговоры надоедали Мотвину. Он сбрасывал с себя то небольшое добродушие, что ему еще удавалось изобразить – полковник, тоже освоившийся со Свиридом, привязался к нему, как привязываются к безделушке, – и приказывал настроиться на правильную волну. В речи полковника, когда она касалась их общего дела, преобладали не коллатерали Слотченко, но некие неопределенные волны. Мотвину почему-то было легче оперировать этим понятием: настроился на волну, поймал волну, потерял волну, перешел с волны на волну.

В этом уже сказывался возраст: подсознательное желание забивать во дворе козла и заниматься изобретением радиоприемников.

Свирид немедленно умолкал и подтягивался. С одной стороны, его способности укрепились и возросли; с другой – прежние приемы Мотвина уже не оказывали на него нужного воздействия. Он, вероятно, привык к боли, и старикан, бывало, как только его не крутил – коллатерали ветвились, и всё проходило гладко, но боли Свирид почти не испытывал. Мотвин замечал это и был недоволен; ему приходилось выдумывать новые способы пригрозить ученику в самой основе его существования.

Полковник ставил Свирида к стенке, метал ножи – очень ловко, как заправский циркач, – и запрещал зажмуривать глаза. Когда Свирид уходил на коллатераль и оглядывался, в покидаемом кабинете он видел себя притиснутым к стенке, тогда как ножи в точности повторяли его силуэт. Иногда он успевал заметить, как последний нож поражал его в лоб или горло.

Но потом он привык и к ножам, тогда Мотвин перешел к стрельбе, для усиления эффекта сопровождая ее уродливой клоунадой. То выпучивал глаза и делал вид, будто оружие не слушается его и прыгает в руке или жжет ее; то неожиданно напускал на себя отчаянную решимость: дескать, Свирид надоел ему и больше уроков не будет. Всё, пора в расход, мальчишка слишком много знает и умеет. На лице полковника появлялось особенное выражение – и не впервые, как хорошо понимал Свирид. Это выражение бывало последним, что видели многие

и многие люди, не имевшие способности порхать по коллатералям и слушать Радио Великих Возможностей – так они с Мотвиным, развивая волновую теорию, именовали происходящее.

Обычно полковнику правдами и неправдами удавалось добиться от Свирида ощущения неотвратимой угрозы. Но он всё равно оставался недоволен: по его мнению, на ловлю волны уходило слишком много времени.

– Долго раскачиваешься, – хрипел он.

Мотвин затеял устраивать ловушки, начав с безобидных веревок, натянутых над полом, на входе. Свирид входил в кабинет, спотыкался, падал; полковник орал на него, требуя сосредоточиваться моментально, еще не коснувшись пола.

– Любая неожиданность, – твердил полковник. – Любая угроза. Малейшее подозрение – и радио уже включено. Ты должен научиться делать это автоматически, как дышать. Кошка, когда падает, приземляется на четыре лапы, а ты, когда падаешь, должен настраиваться на волну. Лучше на несколько волн. А лучше всего будет, если ты научишься делать это заранее, не споткнувшись, еще только заподозрив опасность хребтом...

Он не ограничивался растяжками и организовывал другие ловушки. По распоряжению полковника его подручные, когда Свирид покидал здание, сбрасывали на него разные предметы – чаще всего кирпичи, стараясь попасть не в самого Свирида, но рядом; несколько раз Свирид едва не угодил под колеса автомобиля, всегда одного и того же, неожиданно вырвавшегося на него из-за поворота. На Свирида нападали уличные хулиганы, по его следу пускали служебных собак. Мотвин неизменно оказывался поблизости и вместе со Свиридом переходил на очередную коллатераль. Прошло время, и Свирид уже беспрепятственно перескакивал с одной на другую, почти не прилагая усилий. Полковник был доволен им, хотя и не переставал ворчать; доволен был и Свирид, хотя временами в его душу закрадывалось подозрение: не теряет ли он чего-то, что остается там, в покинутых мирах? Возможности были там, возможности были здесь, много возможностей, безостановочный выбор на уровне загнанной крысы.

8

Самым замечательным в этих путешествиях было то, что у Свирида сохранялись воспоминания: он знал, откуда он вышел и куда направился. Самый первый мир – тот, где он стоял на развилке литеры «У», – теперь отстоял от него на много шагов, между ними пролегла уйма промежуточных вселенных. Однако непрерывность существования Свирида не нарушалась. Возможно, именно поэтому он не задумывался над этим удивительным фактом, пребывая в уверенности, что он – всегда он и его личность, его субъективная воля так и тянется с момента рождения *в доме*, не зная ущерба.

Сороковые закончились, наступили пятидесятые, а с ними – то самое половое созревание, которого не пожелал дожидаться Мотвин.

Созревание изменило то, чего не смогли изменить перемещения.

Всё, что окружало Свирида, как будто уменьшилось в размерах и наполнилось новым содержанием, то есть переменялось. В сочетании с памятью о коллатералях, оставленных позади, это тревожило и мучило Свирида. Отец вдруг сделался совсем не таким грозным и недоступным, каким казался всегда, и Свирид увидел, что повинуетя толстому, грубому, не особенно образованному родителю, который и сам его побаивается – не иначе как по причине регулярных занятий у Мотвина. Об этих уроках в семье предпочитали не заговаривать. Мать показалась пропащей и безнадежной дурой, клушей, наседкой, озабоченной примитивными мирскими материями. В Свириде же укреплялось нечто, как он полагал, возвышенное – то самое, чего он ждал давно, ни на минуту не забывая о своем литературном предназначении. Этому новому, возвышенному было противно и тесно среди родных, а многокомнатная квартира внезапно предстала тоже тесной, маленькой, да и сам дом, похоже, присел и сплюснулся,

и город уже мерещился плоским, как блин. Что это было? неизбежные издержки развития? или его и вправду занесло куда-то, где скучно, серо и плоско, тоскливо, откуда нужно бежать? Тоскливо – бесспорно, но безопасно, в противном случае Свирид, давно овладевший искусством уходить от опасности, увидел бы перед собой расходящиеся тропы, коридоры, шоссе. Ничего подобного не происходило, организм не чуял беды и не стремился спастись.

Упражнения не могли не отразиться на характере Свирида. Наступило время, когда он, научившись предощущать опасность задолго до того, как она приобретала зримые очертания, настолько возненавидел эту неразличимую пока, вездесущую опасность – она же зло вообще, – что начал предпочитать в жизни всё то, что было лишено ее примеси, пусть даже в качестве приправы. Он сделался ни рыба ни мясо – во всяком случае, становился таким: бесцветным, бесхребетным и добрым, причем самая доброта его внезапно перерастала в бешенство. Во всех его деяниях присутствовала тень доброжелательности, неприятия проблем, с налетом доброго житейского юмора, за который его всерьез отличали как редактора школьной стенной газеты; деятельностью этой были отмечены его первые серьезные литературные опыты, но повести и рассказы он до поры до времени никому не показывал, прятал в стол; отец, мрачневший день ото дня, купил ему этот чудовищный стол о двух тумбах, одновременно испытывая понятное презрение флотского человека к литературным трудам отпрыска, но и боясь, и гордясь, ибо сам был начисто лишен умения преобразовывать мысли в более или менее сопряженные слова; эта его неспособность оказалась столь вопиющей, что Свирид, когда впоследствии занимался обработкой отцовских мемуаров, не смог добавить к ним ничего дельного в смысле художественности; мемуары вышли обычными занудными мемуарами, каких бывают тысячи томов, – почти никем не прочитанные и не востребованные исторической наукой.

Повести и рассказы Свирида Водыханова были добры и милы, приятные пустяки. Тогда, впрочем, и не стремились к остроте слова, и всё же Свирид, когда занимался сочинительством, уподоблялся насекомому, которое невинно собирает пыльцу и не имеет коварного намерения впрыснуть в описываемые события опасную личинку-наездника с тем, чтобы тот, когда-нибудь после, переиначил и разорвал родительский организм; еще можно сказать, что он пас тлей. Он был мирным членистоногим в окружении зла – праздных сачков, перепачканных смолой детских пальчиков, ястребиных клювов; он, однако, видел себя уже достаточно крупным мастером, чтобы представлять интерес не для вороны, но для ястреба.

Вопреки новой способности в Свириде развивалось парикмахерское угодничество – как само по себе, так и воспринимаемое от Слотченко, который тоже давал ему уроки мастерства.

Друзья сторонились его, не веряли ему свои секреты, которых в молодости полно – конфузливых, постыдных. Но и не гнали от себя.

Свирид уже заканчивал школу.

6 марта 1953 года Свирид, как было заранее условлено, явился к Мотвину на занятия. Старик плакал, и плакал, судя по всему, уже давно, потому что лицо его напоминало корку хлеба, вымоченную в воде, – а может быть, обрывок древесной коры, сорвавшийся во время лесосплава. И даже не в воде – скорее, это был забродивший квас или цифирь.

Плакал в те дни едва ли не каждый, почти безнадежно выслушивавший сообщения Информбюро о содержании белка в моче товарища Сталина.

Свирид сурово поздоровался, но Мотвин не ответил на приветствие, а вместо этого без предисловий пустился рассказывать.

– Ты знаешь, – давился слезами полковник, – в Ленинграде, на Мытнинской улице, есть люк. Самый обычный, канализационный. Крышак такой... Там, в двадцать четвертом году, на этом люке я стоял и ревел, как баба...

Повод к подобному плачу в двадцать четвертом году был ясен Свириду. Понимая, что занятия в их классическом виде отменяются, юноша радовался унижению Мотвина, несмотря даже на собственные слезы, то и дело наворачивавшиеся ему на глаза.

Он набрался дерзости:

– А он... – Свирид помедлил. – Ленин... Он умер везде?

Мотвин раскурил папиросу – с недавних пор он почему-то оставил свое мерзкое пристрастие к махре, тянувшееся за ним, вероятно, еще с дореволюционных лет. Полковник поднял на Свирида оловянные глаза, и тот понял, что Мотвин впервые беседует с ним на равных.

– Тогда я был слабый, дурной. – И Мотвин неожиданно улыбнулся. Слезы потекли еще сильнее, а рот растянулся в улыбке – щелевидный, без губ. Ящер что-то задумал. – Я хотел, отчаянно хотел, но не мог. И теперь не могу, потому что снова слабый – но уже по другой причине. Я состарился. А ты сильный.

Мотвин выдвинул ящик стола, достал именной револьвер, взвел курок, прицелился в Свирида.

– Ты лопнешь от жира, – прошептал он. – Ты можешь всё: давай покажи мне, где он живой. Я пройду за тобой...

Свирид привычно изготавился к тренировке.

– Это не тренировка, – покачал головой Мотвин. – Что мне терять? Я всё потерял, для меня здесь всё кончилось. Прибью тебя первым, потом – себя. Знаешь, сколько людей сейчас стреляется?

Свирид Водыханов ощетинился ежом коллатералей. Их было много, коридоров, и всюду несли венки, на каждой волне звучала траурная музыка.

– Он умер везде, – пробормотал юноша.

– Молчать! – Старик, брызнув ему в лицо прохладной слюной, перевалился через стол, чтобы прицелиться поточнее.

Но Свирид и вправду не видел выхода. Повсюду текли людские реки, отовсюду поскрипывал мартовский снег. Тут он понял, что нужно сделать. Ученик – если у него есть способности – рано или поздно превосходит своего учителя. Мотвин поерзал на животе, и в эту минуту Свирид, созревший, на беду полковника, половым созреванием, прыгнул и оседлал Мотвина так, что ему был виден тощий зад в истертых галифе. Полковник рванулся, выстрелил в дубовую дверь; Свирид изогнулся, захватил стариковскую руку и затолкал ствол именного оружия в рот Мотвину. «От Лаврентия Павловича...» – успел прочитать Свирид на рукояти и почему-то усмехнулся. В дверь ломились; Мотвин ничего не соображал и бешено вырывался, ему хотелось на коллатераль, однако не доставало сил; Свирид надавил на спуск. В лицо ему ударил вырванный старческий затылок; дверь уже подавалась. Свирид соскочил со стола и шагнул на коллатераль: он не успел раздеться и замечательно вписался в траурную процессию. Как обычно, различил тающий труп Мотвина и себя самого, с уже заломленными руками, в кандалах.

Часть вторая

Шунт

1

Поиски сюжета затянули его в опасную переделку.

Белая ночь и сирень в цвету, очарование остывающего трупа, фон для убийства.

Хотелось немедленно, быстро и грубо уложить городского сумасшедшего, прискакавшего из мрака подворотни. Пустынная улица, пляшущий идиот в плаще на голое тело, в штиблетах на босу ногу. Плешивая голова, напрашивающаяся на удар.

Остановившись, Шунт молча слушал визг дурака.

Пора вильнуть, уклониться, увернуться от предначертанного, сменить магистраль. Коллатераль уводила вправо и выглядела как дорожная разметка в мигающем желтом свете. Обходная дорога, запасной путь, обводный канал, шунт. Удачный псевдоним, куда целиком укладывается перемещение по жизни. Шунт – воин развилки, былинный богатырь на распутье. Но не задумчивая туша на коне перед камнем, с которого издевательски посматривает ворон, а мастер восточных единоборств, прыгун и циркач.

Сюжет, однако, не отличался новизной: кого-то кто-то, без зрелого умысла и без смысла, припрятанным молотком... Шунт не писал о таких вещах, предоставляя это тем, кто оставался позади на бесчисленных магистралях. По его мнению, злу не место в литературе. И в жизни, и в жизни. Однажды он ударил драматурга Фартера. Тот явился к ночи, сильно пьяный, развалился в кресле, задымил: «Что за фуфлю ты гонишь, старина? Ты беззубый!.. всю жизнь был беззубым. Потому что тебя не била судьба. Тебя не били сапогом по рылу. Папа – генерал, дом – на набережной. Тебя всю печатают при совке (совок заканчивался). Милый, розовый, пре-краснодушный шалун. Пирожные, а не книжки. Добрые, блин, немножечко грустные... Прочел, порадовался солнышку, повздыхал. И тебе полмиллиона тираж, и тебе миллион – на хрена это всё?»

Шунт не стал отвечать и двинул Фартеру в глаз. Драматург опрокинулся вместе с креслом, а Шунт, постояв над ним, ушел на коллатераль. Фартер сидел и разглагольствовал, Шунт перебил его: «Давай-ка, милый, накатим по маленькой. У тебя недопой. Что ты, брат, на людей кидаешься?» Магистраль таяла, Фартер выдирался из кресла, готовый дать сдачи, но это виделось уже смутно, расплывчато. Коллатераль ширилась, оформлялась, перенимая статус магистрали. Фартер выпил и уронил голову на журнальный столик.

Лежа, он бормотал:

– Вот так сидишь, занимаешься чем-то малопонятным, средним между редактурой и критикой, и всё читаешь очень хороших людей, всё читаешь их, и читаешь, и читаешь до чувства объемного насыщения.

Вот прислали рассказы писательницы, уже зрелой, известной. Зовут ее, предположим, Дуня Палкина. Читаешь – хорошо написала Дуня Палкина! Без ошибок, все слова стоят на месте, предложения умеренно длинные. И всё правильно написано, так оно в жизни и есть. Изложено просто, понятно, каждому близко. Ну, многим близко, во всяком случае. Молодец!

Следующей берешь повесть какого-нибудь молодого человека. Да не важно, как его зовут. Читаешь и видишь – хорошо написал! Конечно, еще немножечко рыхло, сыровато, еще чувствуется некоторая незрелость, но это вполне простительно. Ошибок нет, слова хорошие, правильные. И всё ведь верно написано! Так оно в жизни и бывает. Молодец!

Потом читаешь уже седого, пожившего писателя. Хорошо написано, с налетом иронии, с высоты прожитых лет. Слова – словно боровички в лукошке, все хорошие. И рассказ написал

добрый, правильный, немного грустный. Совсем как в жизни всё получилось. Надо же! Уже столько написано, а он всё равно еще пишет, даже не верится. Молодец! Зарезаться, сука.

– Пейте свинозепам, – посоветовал ему Шунт.

В глазах ночного идиота молоток отразился косой молнией. Шунт врезал ему от души, насыщаясь отрывистыми криками, сменившими визг.

– Ах! Ах! – кричал помешанный, держась за голову.

Шунт ударил его по руке, вмяная пальцы в висок. Мелькнули огни; патрульная машина катилась бесшумно, надеясь не спугнуть добычу воем сирены. Коллатераль обозначилась с предельной четкостью; Шунт выпустил молоток и шагнул на разметку. Краем глаза он видел себя, стоящего с испачканным молотком в руке над бьющимся в судорогах дураком. Машина резко затормозила, все дверцы распахнулись одновременно, посыпались люди. Шунт растерянно озирался, путешествуя взглядом между машиной и жертвой. Шунт похлопал себя по карманам: пусто. Испуганный сумасшедший попятился и скрылся в подворотне; Шунт подобрал свой чистый молоток и с отвращением спрятал.

«Шунт» был его литературный псевдоним – та же коллатераль, перемычка; псевдоним подсказал ему Слотченко, с которым они продолжали тесно общаться, уже на равных правах обслуживая клиентов в Доме писателей. В Доме офицеров на какой-то коллатерали обвалился потолок с лепными ангелами, и Шунту со Слотченко пришлось перейти на другое место работы.

Шунту исполнилось тридцать семь лет – для писателя возраст, который обязывает. Пора искать ствол; можно – секундантов и даже противника.

2

Идешь на улицу охотиться.

Добыча – строчка. Ради этой строчки настраиваешься, подбираешься, примиряешься с миром обманчивым примирением.

Выдернуть надо даже не строчку, а некую тему сродни музыкальной. Закидываешь удочку, где вместо лески – струна, и начинаешь ловить. Поймав, наматываешь эту струну потуже и спешишь домой, чтобы нанизать слова.

Вселенная не терпит, когда ее упорядочивают даже в такой малости, как строчка. Она обрушивает ведро гадости, но в этих помоях видны прожилки чего-то прекрасного – фруктового кефира, что ли, который уронили, расплющили, собрали и выбросили. Добродушно улыбаешься, показывая, что ничего не имеешь против. Мироздание отступает, пожимая плечами, успокаивается, отворачивается, возвращается к брошенному делу. Дело у него известное – энтропия.

Минут через десять начинает клевать. Вселенная зазевалась, подраспустила вожжи, и вот уже тащишь рыбину. В голове включается анохинский акцептор действия: вся дальнейшая последовательность событий проигрывается загодя, чтобы после на них не сбиваться. Взбежал по лестнице, отворил дверь, скинул куртку, прошлепал за стол, выпустил тему, написал строчку. Слова в таких случаях всегда тут как тут, наготове.

Здесь-то, на стадии двери, и рвется струна. В дверях стоит помойное ведро. Его тебе поставили, чтобы ты его вынес не раздеваясь. Это не было предусмотрено, и бег захлебывается. Акцептор действия, поперхнувшись, разваливается на части. Энтропия, оказывается, нисколько не дремала и не отворачивалась, а заползала с фланга.

Потом, конечно, садишься набивать строчку, и она набивается, но струна лопнула. Написанное ничем не выделяется из прочего текста. Рукописи не горят, но истлевают в помойных ведрах, и надо искать управу на ведра.

Шунт пользуется коллатералью.

Он делает шаг в сторону и видит себя – досадующего, берущего ведро. Он машет себе прощально и ступает на коллатераль. Оставшийся крутит башкой, гоня наваждение: он только что видел себя, машущего рукой. Берет ведро и плетется по лестнице, тщето стараясь удерживать, не пускать струну. На этой струне, однако, уже беззаботно наигрывает другой, ушедший на коллатераль. Коллатераль выводит в пустые комнаты, где нет ни ведра, ни домашних. В доме тихо и мирно, можно расположиться за столом и обстоятельно записать свои мысли.

Как правило, мысль истекает беспрепятственно. Ей уже ничто не мешает, ибо помойная коллатераль сменилась творческой, а та, где Шунт испытывал острейшее желание убить, вообще осталась далеко позади – или, напротив, катилась рядышком, неприметная. Никто не знает, как обстоит дело с этими шунтами: нечто далекое может обнаружиться по соседству и даже, как подозревал Шунт, явиться под видом возможного варианта при очередном обострении ситуации. Но с ним такого не случалось никогда. Во всяком случае, он не думал, что возвратился на покинутую дорогу хотя бы раз – нет, он узнал бы об этом сразу, его профессионально костенеющий позвоночник не посмел бы подвести его и подал бы сигнал.

Копились и проблемы, однако.

Всё чаще хотелось убить, и тем слаще и проще выходили романы и повести. В них описывались простые и добрые люди, немного подлые временами, но без глубоких конфликтов, без неизменно омерзительной Шунту достоевщины. Происходили веселые полупроизводственные события, и повести часто зарождались во сне, так что Шунт просыпался иной раз, отплевываясь от сновидений. Во сне бывало гадко, но на бумаге получалось прилично, просто отлично. И это действительно неплохо печаталось, в этом Фартер был совершенно прав – он, кстати сказать, никогда не стригся у Шунта, предпочитая Слотченко, уже мудроватого стариковской мудростью.

И кто сказал, что люди во сне отдыхают? Сон выполняет важнейшую функцию знакомства с коллатералью. Во сне они, коллатерали, представляли в ином обличье, алогичном и дьявольском. Шунт недоверчиво просыпался: кошмар сменялся покоем, и было ему естественнее заснуть через явь, ибо только она – при известном умении ею распорядиться – является временем отдыха и покоя. Возможно было, что во сне Создатель, предоставляя людям варианты жизненных странствий, пробует их, спящих, вилкой, словно пельмени – не готовы ли? Ибо лепил их по-сибирски сурово. Ну, поваритесь еще, добавим специй...

Нарождался и новый невроз: жадность к пустым местам, охота до свободных пространств. Шунту мерещилось, что у него крадут возможности. Намедни, в метро, он встал, и на его место сразу уселся кто-то другой, и это его разозлило, потому что умалило до молекулы, которых много: стоит сдвинуться одной, как на покинутое место заступает другая. Ему хотелось, чтобы место отныне пустовало всегда, и ради этого можно было его изрезать ножом – либо само сиденье, либо нового пассажира.

3

В парикмахерском мастерстве, еще на коллатерали Мотвина, Свирида, как уже было сказано, наставлял Слотченко. Будущий Шунт пользовался исключительно личными ножницами, которые некогда выдал ему Николай Володьевич.

Слотченко, встречая его, приосанивался с непоправимым благородством во всей манере. У Свирида пробивалась ранняя борода, и на каком-то этапе Слотченко доверил ему обриться самостоятельно. Свирид весь избрился, он получил несмываемое удовольствие. При этом он, благо брал уроки у Мотвина, уже не выносил никакой остроты помимо ножничной.

Парикмахерское ученичество шло бойчее и ловчее, чем странственное. Он быстро превзошел учителя, но Николай Володьевич крайне ревниво относился к бритью и стрижке; случалось, что он и вовсе не допускал Свирида к клиенту. Но вот, уже окончательно сменив воен-

ный френч на цивильное платье, уже навсегда переместившись в Дом писателей, Слотченко, по нарастающей слабости зрения, стал нуждаться в расторопном сменщике-напарнике. И он всё чаще доверял Свириду – теперь уже Шунту – подстричь кого-нибудь не особенно сложного, преимущественно лысого.

Писатели, оказавшись в парикмахерском кресле, эти самсоны, не знающие лиха, обнаруживали удивительную болтливость и разглагольствовали обо всем на свете.

Некий, будучи целиком в мыле, вещал:

– Возьмите хотя бы тургеневский «Дым» с его рассуждениями о причинах ненависти к Западу и в то же время – преклонения перед Западом. Всё дело в русской замкнутости и допетровской отгороженности от мира – а там, в мире, оказывается, и газеты, и книги, и корабли. Отсюда и мучительные рассуждения о судьбе и месте России среди всего этого изобилия, общие места, растерянный поиск идентичности. – Подстригаемый, осведомлявший карательно-влиятельные круги, имел доступ к запрещенной литературе и мог оперировать диковинными для советского человека терминами. – Она как пень в муравейнике. Столетиями прела какая-то непонятная и впоследствии спесивая духовность. Вполне явившаяся миру в семнадцатом году, а вовсе не уничтоженная тогда же, заметьте. Вопреки наветам врагов...

Слотченко, насвистывая ножницами, увлеченно поддакивал, а когда надушенный клиент удалялся, подбирая с пола упавшую прядь и передавал Свириду.

– Зачем мне это? – брезгливо спрашивал Шунт при виде очередного локона с примесью седины.

– Ты знаешь, кто это был? – строго и тихо отзывался вопросом Слотченко. – Ты забываешь, зачем ты здесь. – И он назвал блистательную фамилию, почти растворившуюся в хвалебных воскурениях. – Сохрани этот локон. Сохраняй их все – ты же писатель, а в локонах – сила. Построй себе Ноев ковчег, построй парик, он пригодится тебе, когда начнется мор... Бери все локоны, чистые и нечистые, от каждой твари...

Свирид съезжился под халатом, брал локон двумя пальцами, опускал в карман.

– А когда наступит мор? – спрашивал он, обмирая от сладкого ужаса.

– Когда-нибудь он непременно наступит. – И Слотченко вдруг делал несвойственное ему печальное лицо. – На последней коллатерали... Да что на последней – он уже наступил, он и не прекращался никогда.

От дальнейших разъяснений Николай Володьевич отказывался. Тут входил новый посетитель, который, оказывается, читал в предбаннике газету и слышал провокационные откровения первого господина. Разговор возобновлялся:

– При Петре произошла актуализация комплекса неполноценности, усугубленная традициями многовекового рабства и холопства...

Это тоже был непростой человек, сильно пишущий.

Приходил третий, так что после второго едва успевали подмести пол.

Выяснялось, что прибыл буддист-тунеядец, которому не раз угрожали исключением отовсюду. Его заматывали в простыню, намыливали череп.

– Сотворив человека, – без предисловий начинал буддист, получивший какую-никакую трибуну, – Бог вступил с ним в субъектно-объектные отношения. Таким вот образом и сотворив. А потому и человек неизбежно, в смысле проекции божественности вовне, предается тем же самым отношениям. Мир вокруг равен Богу и равен человеку, и это проекция.

(А бритва скребла ему голову и сочно чиркала.)

– Что же внутри, когда такие проекции? Главная беда человека не в различении добра и зла, а различение вообще как аморфный способ мышления. Непросветленность неотделима от просветленности, а потому тоже хороша. И увидел Бог, что это хорошо, ибо то был Он сам. Ничего плохого нет, потому что больше нет вообще ничего. Вся беда – опять в разделении на

хорошее и плохое. Увидел Бог, что это плохо, – так тоже можно было сказать. Это только слова для человека, субъективно различающего объекты...

– Горстями бери, как песок, – шептал Николай Володьевич.

Горстями не получалось, только шепотью. Буддист сидел насупленный. От него и вправду исходила тугая, непонятная сила.

Потом появлялся поэт. Он мешал стрижке, поминутно хватая себя за лоб.

– Давеча сложилось... кое-что. Представьте – ночью. Я раньше думал, что это для красного словца похваляются, будто ночью снизошло какое-то озарение. И вот пожалуйста. «Люди – одушья далеких планет, которых планет уже больше и нет». Я сразу записал на папиросной коробке, чтобы не забыть... как Маяковский, по-моему, когда ему явилась во сне строчка про «единственную ногу»...

– Как? Как? – извивался Слотченко, орудуя ножницами. – Одушья? Я не ослышался?

Старик печально вздыхал, когда-то давным-давно он сочинял стихи для детей.

Следующий клиент видел Христа Распятого даже в куриной тушке – и с точки зрения верующего человека был прав. Господствующая идеология вынуждала его помалкивать, и он помалкивал, но в парикмахерской барьеры рушились, наступал момент истины. Болтливый сочинитель бормотал:

– Когда религия с презрением к житейскому еще и насаждается сверху, то под такой шапкой Мономаха расцветают совершенные чудеса, питаемые природным, неистребленным язычеством. Христианство лизнуло нас, лизнул фрейдизм, лизнул капитализм, а вот коммунизм присосался, пришелся ко двору. Утопии разрабатывали на Западе, но там их никто и никому не дал воплотить. Вместо этого – Декларация независимости, билль о правах, британский парламентаризм. А мы подобрали эти утопии, как Рюриков...

Ножницы щелкали, локоны кружились, как опадающая листва.

– Ладь себе парик, – не уставал повторять Слотченко, пока не сменилась Мотвинова коллатераль – тогда не стало и Слотченко.

Шунт продолжил работать парикмахером при Доме писателей; к нему привыкли, его полюбили за то, что у них, писателей, даже парикмахер – писатель, и далеко не последний; с ним делились сокровенным и никогда не забывали погрозить пальцем: смотри не пиши этого! Он улыбался и отшучивался; чужих тайн Шунт никогда не выдавал и вообще старался не трогать коллег, не выводил их в своих сочинениях.

4

Литератора Быканова Шунт убил четырьмя ударами кухонного ножа – сразу двух ножей – лишь потому, что тот ему до смерти надоел. Прирезал себе, понятно, локонов; Быканов отчаянно раздражал, временами бесил Шунта своим высокомерием, барством, противоестественным эстетством.

– Вот кусок колбасы, и я его ем, и это не эксклюзивно, – посмеивался над собой Быканов, закусывая в буфете: помимо прочего он обладал отвратительной привычкой посмеиваться над собой, как будто это наделяло его правом унижать других. Писания его – временами довольно изящные – были многословны и полнились парадоксами.

Запивая бутерброд пивом, он замечал:

– Люди в своей массе глупы, но умнее, чем хотелось бы. Моральный императив против орального автоматизма, и наоборот. Кант, защищаясь от дьявола, очертил своей философией магический круг... Идеализм – тоже дьявольщина, противная жизни. Изнанка Платона с его любовью к древним мужам: сойдишь со старцем, чей бледный кал не издает запаха...

Не унимался, лопотал себе дальше:

– Человек – пузырь на воде. Та же вода, но индивидуализированная.

Он имел мнение обо всем, что попадалось ему на глаза. Если он с видом знатока раскатывал в широком бокале каплю вина, то водно-пузырная тема получала развитие:

– Качество напитка зависит от пространственной организации емкости.

Шунта тошнило при виде этого гривастого, очкастого, насмешливого человека в поношенном пиджаке, кабинетного писаки разночинного вида. Одновременно у него чесались руки при взгляде на пышную шевелюру сочинителя.

Рассуждая о судьбах литературы и произведений самого, собственно говоря, Шунта, Быканов ненатурально вздыхал:

– В конце концов любой трюизм – полуправда... Когда начнется повальный мор, трюизмы спасут положение. Это время придет, литературы не станет.

Услышав о море, Шунт сразу решил, что Быканову что-то известно – возможно, даже о коллатералях. Поэтому он велел себе не откладывать убийства и не подвергать себя ненужному риску. Возможно, это был момент сумасшествия, параноидного страха, потому что Быканов навряд ли, зная о деяниях Шунта, вздумал бы его пасти, ходить к нему стричься, вести отвлеченные беседы – не сыщик же он и не садист.

Однако он резал Быканова, орудуя ножами в лучших традициях цирюльнического искусства: разрезал лицо, отстриг голову. Вымыл руки и спокойно вызвал милицию, благо коллатераль уже струилась в пяти шагах. Ежи и снежинки с годами расплющились и выстроились в сеть дорог, поближе и подальше, переплетающихся, пересекающихся, с редкими эстакадами. Он знал, что во многих мирах по его кровавым следам торопятся сотни сыщиков и часто преуспевают, а в иных краях ему выдирали клещами зубы и жгли паяльными лампами. Он не жалел себя, как вообще не жалел своего «я» в других воплощениях и жизнях; правда, о тех не сохранялось воспоминаний, а здесь они были и жили, однако нигде не болело и не жгло.

Он писал длинный роман о задушевных призраках, беседах со старым Мастером и всегда держал рукопись при себе, забирал ее с коллатерали на коллатераль. И Мастер, давно покойный писатель в парике, всегда бывал мудрым и благодарным собеседником, но и себе Шунт, исписывая страницы, казался ничуть не хуже.

Он и сам позволял себе снисходительные шутки, подобающие мэтру, – как будто барин-импотент пощипывает горничную. Он якобы мечтал быть похороненным в Вырице – ах! снова Вырица, опять экривэн... хотя экривэн похоронен в Швейцарии, но в том-то и шутка...

5

Выходя на охоту, Шунт и сам не знал заранее, на кого поднимает ружье – на строчку ли, на человека. Иногда позволяя себе философствовать, он припоминал слова о том, что все люди являются строчками в Божьей книге.

И парик разрастался.

Слотченко не было, но Шунт оставался парикмахером, и дома, в запертом на ключ отцовском столе, у него хранилась странная лысоватая шапочка с разноцветными прядями, локонами и кудрями, как будто пораженная сифилисом, когда волосы выпадают целыми гнездами. Шунт наклеивал локоны особым стойким клеем и внимательно следил, чтобы в волосах не завелись черви или насекомые; такое было возможно, ибо временами – разделявая, к примеру, Быканова, – ему приходилось стричь с мясом, а мясо – отменная питательная среда. Давным-давно, еще ребенком Свиридом, он ненароком прищемил котенку хвост и отхватил самый кончик. Котенка было ужасно жаль, и Свирид спрятал клочок в кошелечек, на вечную память. Спустя много лет, испытывая прилив сентиментальности, он расстегнул кошелечек и отпрянул, ибо изнутри поднялся, извиваясь, огромный полосатый червь.

Шунт научился пользоваться ножницами не только в родной парикмахерской, но и в других местах; он постоянно носил их с собой. Бывало, он дружески приобнимал за рюмкой

водки каких-нибудь полутоварищей – например, писателей Мутьяненко и Плечевого; те, горя нетерпением, слушали тост и не замечали происходящего на затылке.

На многих коллатералях у него оставались семьи той или иной численности; он был жаден до женщин, но и тут предпочитал налаживать оптимальные условия. Выбирал незнакомку и следовал за нею, щурясь на многочисленные трассы, где шла такая же, иногда – не совсем: с кавалером, с собачкой, с коляской, с сигаретой. Наконец, Шунт совершал переход и обычно не ошибался, его расчет оказывался наилучшим. История заканчивалась либо интрижкой, либо браком; случалось, что семьи следовали за ним на новые коллатерали, но часто бывало и так, что он вновь оказывался холост.

Острота, которую он не терпел ни в жизни, ни в книгах, требовала выхода и рвалась наружу, и так из Шунта вылепливался маньяк, гроза городских парков и лесополос. Он действовал ножницами, не брезгуя никем; в милицейских и полицейских папках накапливались ужасные фотографии: изуродованные, насаженные на ножницы дети; старики и старухи с перерезанными сухожилиями, которых смерть застигала, когда они беспомощно ползли по тропе к свету; выпотрошенные женщины и мужчины с отрезанными гениталиями; всё это явно подвергалось глумлению и частичному пожиранию; вокруг трупов обнаруживались многочисленные следы, всегда одни и те же: по ним выходило, что оборотень отплясывал танец и, вероятно, торжествуя выл. Объективно грубая, но субъективно изощренная процедура.

Истинной бедой Шунта была его богатая фантазия. В детские годы он был отчаянно напуган вещами, которые еще только могут случиться, – напуган до того, что ему становилось легче, когда они осуществлялись на деле, хотя это могло показаться слишком странным и запутанным: он же бежал! он всё время бежал от ужаса, желая ужаса и распространяя его. Он мог бы довериться бумаге, но этого было мало, это было понарошку. Шунт был не тем писателем, который в состоянии создавать полноценные миры. Он, разумеется, прославился бы как один из мрачайших авторов современности, и приходилось учитывать, что этого не приветствовали ни на одной коллатерали. И уж тем более в нем не было бунтарства для потрясения умов, которые шелкают и перекатываются разноцветными горошинами в бараньих черепахах.

Сбросив излишек страшного, Шунт делал шаг и оказывался не у дел, между тем как где-то и кто-то ловил его, судил, казнил.

Лишь одно обстоятельство по-настоящему беспокоило Шунта: он старел, и коллатералей становилось всё меньше. Возможно, эти процессы были связаны; возможно, что нет. Его уже не окружали залитые огнями шоссе, свойственные мегаполисам; ему всё чаще приходилось довольствоваться парковыми дорожками, лесными тропинками, разбитыми тротуарами. Он начинал опасаться, что лишается силы, сила же, как учил его Слотченко, содержится в волосах, а потому он стриг и стриг с утроенной силой, и парик его постепенно густел, тогда как плешь на темени самого Шунта всё увеличивалась. Но он не сомневался, что настанет день, когда он наденет этот парик и выйдет, возможно, на последнюю коллатераль – уже гениальным и заслуженным.

Изготовление парика оказывалось, однако, не таким безобидным занятием, ибо многих писателей на многих коллатералях и в самом деле постигал некий мор: они стрелялись, вешались, спивались; их ссылали в лагеря, их покидало вдохновение, и они исписывались вчистую; их переставали печатать и запрещали, вынуждая бежать за границу. Шунт и сам теперь видел, что мор уже давно начался, а сам он отчасти – не следует и о других забывать – является разносчиком этой чумы. Гуляющие по коллатералям и имеющие власть, конечно же, продолжали существовать и в собственных целях выхаживали невосприимчивое к высокому слову стадо. Но Шунт больше ни разу не встретил себе подобных и не стремился к этому; ему было довольно себя.

6

Однажды он здорово влип: его остановила милиция, вдруг пожелавшая проверить документы. Шунта давно занимал вопрос: с какой ритмичностью возникает в милиционерах это желание, редуцированное до физиологического; есть ли здесь какая-то система, предустановленный ритм, или процесс подобен ерофеевской икоте и протекает стихийно? Наружность Шунта не объясняла намерения проверять у него документы: человек как человек, ничем не подозрительный даже в своем чудаковатом парике (парик был почти готов, и Шунт уже надевал его, всё чаще и чаще).

Милиционеров было двое, один из них *знал*. Шунт прочел узнавание в его карих серьезных глазах: мальчишка, вчерашний курсант, еще не испорченный системой. И он узнал Шунта, потому что тоже умел ходить по путям и кое-что повидал. Он даже будто бы вспомнился и самому Шунту: когда-то и где-то этот мальчишка спешил, вызванный очевидцами убийства. И там, где это происходило, Шунта задержали, но парень знает, насколько оно маловажно, это далекое отсюда задержание.

Поблизости наметилась спасительная трасса, но Шунт не решался бежать: мальчишке ничего не стоило перепрыгнуть следом и продолжить погоню. Его напарнику – вряд ли, такое совпадение было бы уже чрезвычайным, но парень в пылу преследования не заметил бы его исчезновения. Впрочем – почему чрезвычайным? Вполне возможно, что власти, имеющие доступ к коллатералиям, готовили специальные отряды умельцев, отбирая юные таланты, как некогда отобрали самого Шунта.

Оставалось одно – убивать.

Сегодня у Шунта не было настроения проливать кровь – вернее, не было вдохновения. Кровавопролитие было писательством по существу, в его форме осуществлялась цензура, и неприемлемые вещи не допускались на страницы книг. Уайльд был прав, когда говорил, что жизнь есть копия искусства. Но искусство требует вдохновения, сейчас же у Шунта оставалось одно мастерство. Ножницы хранились во внутреннем кармане пиджака, вместе с документами. Шунт твердо решил бить кареглазого, ибо надеялся, что специальных подразделений все-таки нет и что напарник за ним не угонится. Быстрое движение – и милиционер закричал, закрывая лицо ладонями, из-под которых потоками хлынула кровь.

– Стреляй! – закричал он требовательно. – Стреляй, не давай ему сделать ни шагу!

Напарник, слишком растерянный, чтобы действовать вдумчиво и толково, даже не прикоснулся к кобуре, а начал бессмысленно свистеть. Он с ужасом смотрел на красные ножницы, которые Шунт неспешно, как в замедленной съемке, погружал обратно в карман. Потом Шунт бросился наутек, и только тогда милиционер потянулся к оружию, но первый выстрел, который он сделал, был произведен в воздух – так велела инструкция, а второй тоже пришелся в воздух, ибо цель растаяла, подобно дымному облачку.

...Отдуваясь, Шунт шагал по коллатерали и поминутно оглядывался. Вот незадача! Сколько же их было всего, путей отступления? Не замедляя шага, он начал загибать пальцы. Три – это точно. Четыре?.. Может быть, даже пять... что-то маячило, скрывалось за пеленой. Но это совсем не дело – четыре ли, пять, когда прежде бывало за сотню!

Он шел озабоченный и даже не пытался понять, куда попал. Что-то родное и близкое, он чуял печенкой. Разберемся.

Часть третья Ледяной дом

1

Шунт гнался за последней жертвой. Коллатераль осталась одна, последняя в его жизни: заснеженная, чуть подсвеченная фонарями, она чернела справа. Других не было, миры неуклонно сливались, слипались и костенели. Шунту мешали бежать папки с опубликованными и неопубликованными рукописями, полная авоська. Шунт полагал, что при таком развитии обстоятельств он обязан захватить с собой единственное достояние. В наружном кармане пальто покоился парик, во внутреннем – документы, в перчатках сверкали ножницы. Девушка с богатыми русыми косами бежала изо всех сил, и шестидесятилетнему Шунту приходилось нелегко: одышка, больные ноги, нагруженная в парикмахерско-писательском деле спина. Он догнал ее примерно на двухсотом прыжке, и та зарылась лицом в снег. Перво-наперво Шунт срезал косы; затем, не думая уже об изнасиловании, от которого прежде ни за что бы не откался, вонзил разведенные лезвия под румяные щеки.

Парик, как мы сказали, был почти достроен, и Шунт взял от девушки самого красного, с кровью, откуда погуще. Он засветился, за ним гнались, какие-то ротозеи со станции его засекли и вызвали подмогу. Это было смешно, когда до спасения подать рукой; Шунт быстро затолкал куски кос в карман, перевернул тело, ударил ножницами в остановившиеся глаза.

Писательство – великая страсть, которую не стоит держать в узде; это энергия, и если ее долго сдерживать, она приводит к таким вот плачевным результатам.

Издалека доносились крики, снежный скрип; промелькнула растревоженная белка. «Крыса какая-то», – подумал Шунт. Всё. Он уже в возрасте, ему пора на покой. Пускай не будет больше коллатералей. Обессиленный Шунт не стал подниматься на ноги и кулем скатился с тупа в придорожную канаву. Тонкая наледь треснула, и он вымок; опасаясь за документы и рукописи, Шунт начал выкарабкиваться на трассу.

– Попался, урод! – кричали за спиной, и Шунт знал, что это его сейчас догнали, заломали и, может быть, уже убивают кольями, то есть линчуют. Вопли, похожие на рычание, слабели и глохли; Шунт выпрямился.

Последняя коллатераль лежала перед ним безнадежной лентой подмороженного асфальта. Местность почти не изменилась, и время года стояло такое же: поздний октябрь. Можно было надеяться, что и станция не отъехала далеко – так оно и вышло; Шунт добрался до нее за четверть часа. Бросил взгляд на огромные станционные часы – игрушку, свалившуюся с елки для великанов: половина десятого. Разумеется, вечера, ибо темно; пассажиров немного, они уныло разбрелись по платформе. Угрозы нет, она не чувствовалась, но хоть бы и ощутилась? Он использовал последнюю возможность. Шунт сунул руку в карман и стиснул парик.

Этот парик, если пристально рассматривать его на свету, был не то чтобы страшен, но гадок. В нем перемешались поэзия, проза, критика и драматургия, множество стилей и направлений. Перед наклеиванием Шунт ровнял локоны, но всё равно получилось что-то всклокоченное и неухоженное, какая-то собачья шкура. Иногда парик напоминал ему окровавленный клоч, выкушенный из шкуры сказочного зверя, особенностью которого, как явствует из алхимических книг, является многообразие цветов, равно как и предпочтение проживать в преданиях и легендах. Шунт удержался от искушения подойти поближе к фонарю и рассмотреть парик; он стал исследовать карманы дальше, нащупал ножницы и в какой-то момент испытал желание забросить их в снег, потому что больше они уже не понадобятся, однако сдержал себя, решил оставить на память. Теперь документы: с ними всё было в полном порядке – членский

билет писательской организации, пенсионная книжка, паспорт с прежней пропиской. Перемещаясь с коллатерали на коллатераль, Шунт никогда не оказывался бездомным, у него неизменно обнаруживалось вполне обустроенное жилище, чаще всего – с налаженным бытом и семьей.

Подошел поезд. Шунт забыл купить билет и, недовольный собой, уселся поближе к окну, где грела печка. Контролеры объявились мгновенно.

– Штраф, – равнодушно пожал плечами самый матерый.

– Сколько? – осторожно спросил Шунт, не знавший пока местных порядков.

Сумма, которую ему назвали, ошеломила его.

«Что же это за деньги такие?» – подумал Шунт. Не иначе как здесь состоялась денежная реформа. Такое уже бывало с ним, и он достаточно быстро приспособивался к режиму – надеялся остаться состоятельным человеком и нынче.

Подступило, однако, чувство опасности, но коллатералей не было. Мир вытянулся в латинскую букву I с невидимой точкой в конце – а может быть, в T, с перекладной-тупиком.

Деньги нашлись в бумажнике, которого Шунт в ожидании поезда не осматривал. Купюры очень крупного достоинства; расплатившись, Шунт увидел, что пострадал, но не слишком сильно.

Он благополучно добрался до дома, на набережную; его встречала семья – буднично, ни о чем не спрашивая. Семья – сильно сказано; встречала жена, дети давно выросли и разъехались кто куда.

Он попытался разобраться в обстановке: действительно, здесь многое изменилось – коммунисты ушли, накопления сгорели, но он всё еще оставался членом Союза писателей, чуть ли не живым классиком, и все, оказывается, успели привыкнуть к его чудаковатому пестрому парикю, так что жена даже спросила, куда вдруг подевалась эта знаменитая вещь.

– Голова вспотела, – ответил Шунт; сморозил глупость, ибо мороз сполна выдавал его ложь, но дальнейших расспросов не последовало, и Шунт удалился в свой кабинет, где всё показалось ему привычным и уютным.

Вошла жена, она держала в руках ножницы, которые обнаружила, когда чистила пальто.

– Ты что, работу нашел? – спросила она недоуменно. – Снова парикмахером берут?

Шунт изобразил удивление, смекая про себя, что парикмахером уже не работает. Но работал. Он пожал плечами.

– Черт их знает, как они там оказались. Положил, наверное, по старой привычке.

Жена посмотрела на него подозрительно. Ей подумалось, что супруг не в себе – не грозит ли ему удар? Возраст обязывает к бдительности.

– Маразм наступает, – бодро утешил ее Шунт. – Захочу что-то сделать – и забуду, что хотел. А то иной раз напишу что-то, потом гляжу – и сам не понимаю: к чему это?

Побродив по дому, он выяснил, что жилище его лишилось многих признаков изобилия и достатка.

– Тебе звонил Тронголов, – сказала жена.

Так, замечательно. Предстояло выяснить, что это за птица.

– Ты не в том положении, чтобы кочевряжиться, – продолжила супруга, и Шунт понял, какая она нудная, отвратительная, старая.

– Думаешь и дальше ходить в присутственное место? – язвительно спросила жена. – О Литераторских мостках мечтаешь? Будут тебе Литераторские мостки... Только до них еще надо дожить, чтобы помереть, а в доме жрать нечего.

Он ходит в присутственное место? Ну да. Так у них было принято называть редакцию почтенного и толстого журнала. Шунт занимал там должность заместителя главного редактора, «работал с рукописями»... Новый мир просачивался в него всё глубже, и вот ему открылось, что журнал еле дышит и вскорости сдохнет совсем, что никто его не читает и вообще журналы

давно не в чести, а вся литература поражена проказой. Люди читают запоем, но люди читают – что? Кто такой Тронголов, на что он должен согласиться?

2

Шунт обратил внимание на странное поведение светофоров: многие из них одновременно горели желтым и красным огнями. И раньше так было, подумал он, вспоминая бывшие коллатерали. «Если вдуматься, то это очень символично для нашего государства: нельзя, но попробуй...»

Тронголову было наплевать на любые цвета. Он гнал свой «бумер» так, что Шунт, сидевший на переднем сиденье, непроизвольно вжимался в кресло, а с заднего сиденья ему жарко дышала в затылок немецкая овчарка, любимица Тронгорова, – Альма, конечно, мудрить не приходится. Шунт порадовался незатейливой фантазии хозяина.

– Альма, – сыто урчал Тронголов, всё прибавляя и прибавляя скорость. – Альма – хорошая девочка, сиди спокойно. В нее стреляли, представляете? – Он повернулся к Шунту. – Это мне было предупреждение. Ошиблись, однако, сволочи...

Шунт вежливо хмыкнул и огладил себе парик. Телохранитель, тоже сидевший сзади, дежурным жестом потрепал Альму по холке.

Тронголов оказался из тех, кого в последние годы стали именовать новыми русскими. У него было дело, и не одно; он держал банк, и не один. Лицо, огромное до уродства: губы, подбородок, да и язык был великоват – чувствовалось, как ему тесно во рту, как медленно он ворочается. Бритый череп, огромные кисти и ступни, малиновый пиджак, толстенные кольца и броские перстни.

Шунт помнил, как этот господин впервые появился в редакции и спросил непосредственно его.

– Я ко многим знаменитым ходил, – заявил он без обиняков. – Они старые все, пердуны полнейшие, нос задирают. А вы помоложе. Имя у вас тоже громкое.

Он предложил Шунту должность придворного летописца, а заодно – хроникера, тамады и просто изготовителя чтива, которое было бы доступно уму этого неизвестно откуда народившегося уroda. Шунт слушал развязное предложение молча, перебирая затупленные карандаши – этим? Или этим, в глаз, и в ухо, и в горло? Невозможное дело: бежать было некуда. Тронголов грохотал в абсолютной тишине, редакцию выкосил мор, но не тот, когда свозят на санках по льду и хоронят в братской могиле, а тот, при котором сохраняется видимость пиджачной жизни, подтачиваемой изнутри миллиардом жуков.

– А волосы у вас свои? – вдруг поинтересовался Тронголов.

Шунт покраснел. Тронголов оглушительно расхохотался. Глаза у него выпучились, живот провис между колен и мерно колебался; телохранитель, топтавшийся рядом, позволил себе солидарную улыбочку.

– Четыреста баксов буду платить, – продолжил бизнесмен. – Мало будет – добавлю. Плюс полный пансион. Поселитесь у меня, ни в чем отказа не будет...

– А это зачем же? – не понял Шунт.

Тронголов удивленно развел руками:

– Как же вы мне напишете хронику, если будете где-то болтаться? Баба, что ли, не отпустит? Везите и бабу, места хватит... У меня знаете, какие хоромы?

Они как раз и направлялись за город полюбоваться хоромами Тронгорова, ибо Шунт уже принял решение – вымученное, вынужденное, подлое. Суммы, предложенной Тронговым, ему не дали бы нигде; книг его, теплых и мягких, с печатью стариковской мудрости, никто не хотел читать и не собирался печатать. Барину понадобился домашний писатель, и барин его получит; он будет вроде как тискать барину-пахану романы, как это заведено на зоне. Барин

уже обзавелся собственным гимном и собственным флагом; в забытой Богом кузнице, которую Тронголов озолотил и возродил, ему выковали герб; ему уже вырубili памятник и прикупили место на кладбище, где хоронят великих. Барину выстроили дворец – и вот уже Шунт убеждался, что да, это именно дворец, с башнями и бойницами, с балюстрадами-анфиладами, за кирпичным забором под электрическим током, под охраной пятерых автоматчиков, с конюшней и псарней...

– Охота, рыбалка! – гудел Тронголов. – Что ты сомневаешься – много ли ты наловишь да настреляешь в своей халабуде?

Переход на «ты» состоялся у него плавно, естественно, и он почувствовал себя увереннее: ему стало легче выговаривать слова, даже речь несколько ускорилась.

Шунт думал о товарищах по литературному цеху, пыльных и некогда выстриженных, не нужных никому, с романами-воспоминаниями о Петербурге и Москве, с покойницкими стихами, с бредовыми критическими статьями, интересовавшими только авторов; он обонял в воображении редакционные коридоры, где пахло временем-нафталином. Парик прирастал к его черепу, и Шунт иногда сравнивал его с репейником.

Жить надо, жить всё равно придется – хотя бы и так. Ну, возьмется он, согласится, напишет этому бугаю биографию да десяток романов о братве.

Одни считают, что не важно, о чем писать, главное – как. Другие думают наоборот. Вся штука в том, что «как» перетекает в «о чем», а наоборот – нет. Тема диктует выбор стиля, если есть из чего выбирать. Стиль диктует тему автоматически.

Шунт приосанился, и Тронголов заметил это.

– Очень тебя попрошу... – Казалось, он вымаливает себе новую игрушку-автомобильчик. – Я солидный человек, конкретный и правильный, и у меня всё должно быть путем. Люди вокруг меня тоже должны быть солидные... Я могу и не тыкать, – спохватился он вдруг, – это же я от смущения, что ли... Мы ваши книжки еще пацанами читали...

Шунт раздулся окончательно. Последний довод сразил его наповал.

3

По прибытии во дворец Шунта немедленно перезнакомили с челядью и сделали это так, что даже переборщили в намерении обозначить его превосходство. Тронголов, шагая из зала в зал, возбужденно размахивал руками и кривился, когда наткался на очередного охранника, горничную или массажиста. Никаких, понятное дело, имен и отчеств; Альма следовала за ним, цокая когтями по сверкающему паркету. Тронголов поминутно останавливался и цедил сквозь зубы, обращаясь к холопу и кося глазом на Шунта: «Это пис-с-с-с-сател-л-л-ль... понятно? Ты в теме? Ты должен прикинуться ветошью, когда увидишь, что он идет...»

Шунт нервно оглаживал парик. Он всегда любил почести и жаждал их, с удовольствием принимал всевозможные награды и грамоты, удостоивался премий и званий, не брезговал председательствовать на ведомственных литературных толковищах. Но здесь было нечто иное. Возможно, его неловкость была вызвана тем, что он не был первым, ведущим писателем современности, живым классиком? Но он и раньше почти никогда не бывал первым, однако же получал удовольствие, когда его чествовали. В чем же дело?

Тронголов отвел Шунта в его личную комнату, обустроенную на манер лаборатории средневекового звездочета с безнадежным слабоумием. Из пояснений хозяина выяснилось, что писатель («Или ученый», – обронил Тронголов) был запланирован еще на стадии проектирования.

– Кабинет, можно сказать, дожидался вас, – улыбнулся Тронголов, от чего его огромный хоботообразный нос незначительно шевельнулся.

Шунт безмолвно оглядывал постель под балдахином, выведенную в потолочное отверстие подзорную трубу, антикварный глобус без Австралии и рядом такой же, но уже лунный; аптекарские весы, стопки бумаги, чернильницы с торчащими гусиными перьями, непонятные инструменты – астрольбии и секстанты; морские атласы, чучела – клыкастые и рогатые головы, заспиртованного уродца, очень большие и неудобные кресла с завитушками. Колбы, реторты, ступки; чесночные грозди, повешенные на гвоздик, какие-то исполинские, полуислевшие книги. Он раскрыл одну наугад: латынь.

– Как тебе декорация, писатель? – довольно осведомился Тронголов. – Ты не подумай, я же понимаю, что тебе впадлу писать от руки пером...

Он полез под столик неизвестно какой эпохи, вытащил ноутбук.

– Тут всё сделано по последнему слову техники!

Тронголов подмигнул и повернул некий рычаг; одеяло на кровати вздыбилось и съехало, явив очередное чучело: крокодила, который приоткрыл пасть и начал делать медленные возвратно-поступательные движения. Зубы у крокодила были сточены. Кабинет наполнился хозяйским хохотом.

– Сюрприз! – восторгался Тронголов. – Это тебе для забавы, когда жена надоест...

Шунт решил, что с него достаточно.

– Я бы хотел как можно скорее приступить к выполнению моих непосредственных обязанностей, – сказал он чопорно. – Мне не вполне удобно пребывать в обстановке роскоши, не заслужив на это права.

– А выпить и закусить? – искренне расстроился Тронголов. – Нет, брат писатель, больно ты деловой! Я люблю деловых, но если деловой не будет расслабляться, он быстро сгорит... – Он ударил себя по лбу. – Да ты сразу и начнешь! Не отходя от кассы! Будешь описывать, как мы с друзьями отдыхаем. Типа вступления – ну, что я тебе объясняю. А дальше всё уже серьезно: глава первая. О том, как Тронголов открыл свой первый видеосалон...

У Шунта отчаянно чесалась голова, и он украдкой подсовывал пальцы под парик, раздирая кожу в кровь. Он сильно сомневался, что его старуха («Да-да, старуха», – повторил он про себя неприязненно) захочет переезжать в замок. Дальнейшее показало, что он не ошибся, она действительно отказалась, заявив с истерическим смешком, что отправлялись же раньше люди на заработки, на промысел, да и сейчас отправляются, а жены их дожидаются в теремах...

Хорошо, думал Шунт, шагая за Тронговым в обеденный зал. Я напишу тебе, быдлу, всё, что тебе захочется; куда же деваться, когда приходит время писать не для людей, а для свиней... мы напишем и для свиней, и всякое чмо будет хавать эту продукцию со сладострастным мычанием. Я выставлю вас, распальцованных скотов, такими, какие вы есть (Шунт, повторился, очень быстро осваивался на коллатералях и моментально впитывал целые лексические пласты), но вы этого не поймете и не заметите по недостатку ума... Я со смеху буду покатываться, занимаясь вашей убогой историографией, я застебу вас, – прилетело словечко, – в дым и мат, а вы так и будете похаживать, порыгивать да попердывать, важные и крутые, конкретные...

Тронголов, даже не присаживаясь за стол, налил себе полный фужер водки, опрокинул, выдохнул.

– Уже можно начинать записывать? – с тончайшей язвительностью осведомился Шунт.

Тот сумрачно посмотрел на Шунта.

– Давай валяй, – выдавил он наконец.

4

Первая глава была построена к утру: Шунту не спалось – он переел, да и выпил лишку. Попробуй не выпить! – в спаивании окружающих Тронголов отличался поистине петровскими

замашками. Строить в этой главе, собственно говоря, было совершенно нечего. Шунт просто исправно записывал разнузданные речи, которые велись за столом, – все эти смутные взрыкивания, все эти дикие вопли, и только иногда осведомлялся шепотом насчет персоны, которой в данный момент внимал: что за личность? кем записать?

Он даже не поленился вставить в написанное рассказанные анекдоты. Чем они были глупее, тем злее становилось чувство, крепнувшее в Шунте.

Тронголов, когда Шунт явился к нему с распечаткой, опохмелялся. Он сидел-покачивался в плетеном кресле, одетый в халат и полосатые трусы до колен.

Шунт отказался от предложенной рюмки, и хозяин махнул рукой.

– Излагай, – велел он сурово, ибо всерьез опасался, что чертов писатель вынудит его напрягать расплывающиеся мозги. Но когда тот приступил к чтению, с Тронголовым случилась неподдельная истерика. Он подался вперед, он колотил себя по коленям, он непристойно ржал и в какой-то момент оглушительно пернул – между прочим, незамедлительно извинившись.

– Игореха так сказал? – переспрашивал он. – Повтори! Во дает, а?

Шунт монотонно прочел сказанное Игорехой, а когда дошел до Вована, который наблевал в собственную дорожную сумку, Тронголов остановил его, вскочил и пошел по дому собирать еще не очухавшихся гостей. Он собрал их всех всё в том же обеденном зале и заставил Шунта читать с самого начала. Кто-то недовольно мычал, кто-то хихикал, кто-то развязно протестовал; опохмелка, однако, продолжалась, и произведение Шунта нравилось обществу всё больше и больше, под конец ему даже рукоплескали и тянули штрафную, хотя сам черт не разобрал бы, за что полагается штраф.

– Всё! – прогремел Тронголов, с силой ударяя Шунта по плечу. – Тронголов вас всех сделал! Знаю – сейчас помчитесь искать себе писак, журналюг... но такого – хрена с два найдете! – Он показал собравшимся кукиш.

Будучи деловым человеком, он немедленно расплатился с автором: «Привыкай!» Шунт находился в легкой растерянности. Издеваясь и откровенно пакостничая, он угодил и теперь держал в руках очень серьезные для своего времени деньги. Подумав немного, он спросил у Тронголова позволения съездить домой и передать полученную сумму «старухе».

– Толян! – заорал Тронголов, и прибежал шофер. – Сгоняй к господину писателю на квартиру, отдай его старухе бабло да спроси, чего купить надо! Сгоняешь в лавку, чтоб ни в чем нужды не было... На полусогнутых!

– Да я... – Теперь Шунт растерялся окончательно.

– Ты иди и отдыхай – покемарь или ящик посмотри. А потом у нас с тобой будет серьезный разговор. Раз пошла такая пьянка...

Оставив по требованию Тронголова рукопись на столе, Шунт удалился в свою комнату и какое-то время сидел на постели, пиная носком крокодила, которого давеча стащил за хвост на пол и на всякий случай перетянул пасть полотенцем.

Ему придется писать. Ему придется заниматься сомнительным творчеством на последней коллатерали – словно умышленно, методами селекции, выведенной для повального фельетонизма, как называл это явление Гессе.

Остро захотелось убить, загрызть, искалечить – нельзя, но следует подождать. Не исключено, что и можно, и даже в компании, и даже по прямому распоряжению...

В последнем Шунт не ошибся: теоретически такие действия были в порядке вещей. Он достоверно выяснил это, когда ближе к вечеру состоялся обещанный Тронголовым серьезный разговор.

5

К изумлению Шунта, посвежевший в сумерках Тронголов был тверд в своем желании запечатлеть на бумаге, «как оно всё начиналось, развивалось и заканчивалось».

– Люди, с которыми ты вчера и сегодня пил, писатель, – люди очень не простые. Не дай тебе Бог с ними поссориться. – Тронголов почему-то выудил из-за пазухи тяжелый золотой крест и приложился к нему губами. Другой рукой он почесывал за ухом Альму.

В камине трещали и шелкали поленья.

– Эти люди, братан, достойны того, чтобы их увековечили в людской памяти. Чтобы вырубili в камне, в бронзе, отлили в золоте.

Шунт уже обратил внимание на тот примечательный факт, что Тронголов был крайне озабочен идеей увековечивания – сюда же шли памятники, кладбищенские участки. Очевидно, в нем тоже было развито чутье на опасность – вот только коллатерали, на которые уходили его дружки, были качественно иными.

– А вы не боитесь описывать... всё... на бумаге, ведь это же документ, улика?

Чтобы задать такой вопрос, Шунту потребовалась известная отвага: он открыто признавал своего благодетеля бандитом. Голос его дрогнул, и Тронголов ослабил:

– Приссал? Дошло наконец, на что понадобился? Теперь ты, считай, в бригаде... Да ты не дрожи, ерунда всё это. Всё, что от тебя требуется, – памятник сделать. Литературный. Знаешь такие книжки – «Литературные памятники»? У Вовановой телки их полный шкаф... Вот и нам нужен такой памятник. Сделаем из железа и кожи. У меня ковзики есть правильные... Ты будешь писать, они – ковать. Поэтому я расскажу тебе много такого, чего никто не знает. И не узнает до поры – мы же типа не побежим с тобой в типографию. Для типографии ты другое напишешь – примерно то же, но иначе.

Шунт чувствовал, как его затягивает в трясины; как посвященность в уголовные тайны делает его пестрый литературный парик довольно ненадежной защитой от пули.

– Я полагал, вы хотите, чтобы я писал для вас развлекательные произведения...

– Это романы, что ли? – Несло жаром, и непонятно было откуда – от камина или от Тронголова. – Это ж семечки! Конечно, будешь шелкать... Тебе это на пару часов работы. Братва, бывает, скучает сильно, когда долго ждать приходится или стеречь. Книжек сейчас подходящих много, но я хочу, чтобы у меня всё свое было, даже книжки. Я издательство прикупил неслабое... Они на ладан дышали, докатились до календарей. А раньше советских писателей шлепали, сплошным потоком.

Шунт припоминал названия книг, которые имел в виду Тронголов и которые он видел в городе на развалах: «Фраер», «Падлы», «Скоты», «Ловушка для лохов», «Последняя шмара Резаного», «Фуфлометы», «Похождения счастливой проститутки»... Как это пишется? Когда он убивал, из-под его пера выходило розовое и безобидное. Хорошо принятое, высоко оцененное. Ведь у него талант. Как ни крути, куда ни кинь, а талант у него имеется, пускай и не высшей пробы. Теперь он не убивает – и что же напишется? Возможно, именно то, что нужно. Но Шунт сомневался в этом: он знал, что скорее начнет описывать грибные и земляничные поляны, по которым разбросаны дымящиеся потроха, про забрызганные кровью березы, про фекалии, широкими мазками втираемые в мертвые лица. Такое навряд ли устроит Тронголова, он хочет иного... он хочет – красивой пустоты. То, чем торгуют в городе, – пустота, перетекающая в головы, тоже пустые. Те, что стояли у власти и знали коллатерали, вышли-таки на коллатераль пустоты. Он делал свое дело, орудовал ножницами, а большие люди – свое и без его содействия. И вот он стоит в своем парике, продуваемый всеми ветрами, не нужный никому – разве что Тронголову.

– Выпей, писатель, – пригласил Тронголов и вынул из-под кресла здоровенный фотоальбом. – Сейчас ты начнешь знакомиться со своими героями.

Шунт уже вполне уверенно подумал, что после, когда он выполнит задание, его непременно убьют. Но он ошибался, его не собирались убивать. Зачем? С ним произошло совсем другое и после происходило еще не раз.

6

Наступил декабрь. Шунт прочно обосновался в загородном доме Тронголова. Хозяин бывал наездами, и его летописец Шунт уже с горечью видел себя современным Нестором, секретным агентом в стане врага, – постепенно поднялся на командную высоту: покрикивал на слуг, помыкал ими, и его беспрекословно слушались. Каждое утро, растягивая и расчесывая парик, прежде чем надеть его, Шунт со злорадством воображал себя инопланетным разведчиком, которого занесло в колонию простейших, обладающих зачатками разума. «Это быдло, – повторял он про себя, – эта плесень, ряска, скот, который, понимаете ли, тянется к художественному слову... которому что Достоевский, что сканворд... что кроссворд для разгадывания на приусадебном участке...» И все страницы рукописи Шунта были искусно напитаны тонким ядом, недоступным для рыночного ума. «Торгово-денежные отношения, установившиеся в стране, – размышлял Шунт, – явно понизили градиент общего интеллекта...»

Рукопись между тем разрасталась, живописуя становление разнообразных кланов и группировок. Шунт особо отмечал места для будущих фотографических иллюстраций – главным образом застолий и похорон. Он уже знал, как приподнялся Вован Бобрышев, как замочили бригаду великолуцких, сколько бабок потратили на местную церковь, где теперь благодарный батюшка прощал Тронголову и его головорезам любые грехи. Он знал, как сеть видеосалонов Тронголова в мгновение ока преобразовалась в вагоны и составы цветных металлов, он стал разбираться в бензине и ценах на него и даже приблизился к пониманию сущности офшорных зон. Он приобрел некоторое представление о биржевых операциях и узнал еще много полезного.

Тронголов, когда приезжал во дворец, диктовал, но чаще просто развязно болтал под рюмочку. А уж потом Шунт мучился над его косноязычными рассказами, пытаясь придать им пристойный вид. Получалось мрачное документальное повествование, изобиловавшее повторами и неаппетитными подробностями.

Тронголов всё больше гордился своим приобретением и всем надоедал, показывая писателя; хотел было переодеть его в камзол, но Шунт заартачился и настоял на скромном деловом костюме. Тогда Тронголов зачем-то подарил ему посох. Вся братва перезнакомилась с Шунтом и при обращении величала тем или иным классическим именем, засевшим в бритой башке со школьной скамьи.

Однажды утром, испытывая легкую дурноту после вчерашней попойки, Шунт вышел на балкон и увидел незнакомых людей, трудившихся над огромными глыбами льда. Лед привезли накануне, и Шунт еще, помнится, поинтересовался у прислуги – зачем? – но ему никто ничего внятного не сказал. Зябко кутаясь в халат и раздувая ноздри, Шунт наблюдал, как люди обстукивают глыбины молоточками, жужжат пилами, орудут топориками. Он сообразил, что Тронголов затеял соорудить некое изваяние, скульптуру – возможно, ледяной памятник самому себе или какую-нибудь беседку, куда потом поставят мангал, принесут столы, и всё пойдет своим чередом. Беседка расплавится от жара, поплывет, но тем веселее будет.

Шунт оделся и вышел; в дверях гостиной он столкнулся с Тронговым и вежливо поздоровался.

– Здорово, брат литератор! – весело крикнул Тронголов, протирая заспанные глаза. – Слышишь, мастера стучат? Лучшие в городе. Я их нанял выстроить мне ледяной дом. Слышал про такой? К вечеру обещают управиться.

Шунт слышал про Ледяной дом и даже позволил себе поделиться с Тронговым некоторыми историческими фактами: рассказал ему о вздорном царствовании Анны Иоанновны на пару с Бироном и о потешной свадьбе, для которой, собственно говоря, и был построен в Санкт-Петербурге тот знаменитый дом, где поженили придворного шута Голицына и калмычку Буженинову. Тронголов, слушая, оглушительно зевал: оказалось, что эта история ему в общих чертах известна.

– Мы пока не цари, – сказал он скромно, – но тоже можем позволить себе небольшой карнавал... в античном стиле.

Шунт сильно подозревал, что хозяин путается в эпохах, но уточнять не стал. Античность так античность.

Тронголов погрозил ему пальцем:

– Будешь участвовать!

Шунт изобразил слабое подобие улыбки.

– А слон будет? – не удержался он от ехидного вопроса.

– Какой слон? – не понял и озаботился Тронголов.

Шунт объяснил ему, что при Ледяном доме Анны Иоанновны был еще и ледяной слон, извергавший из хобота горящую нефть. Тронголов помрачнел и защелкал пальцами. Ни слова не говоря, он развернулся и куда-то побежал; в скором времени снизу донеслась отчаянная матерная брань: кто-то, невидимый Шунту, держал ответ за то, что не знал и не сказал о слоне, не обеспечил слона. Шунту сделалось сладко и приятно; он искренне радовался посрамлению Тронголова и незавершенности затеянной дури.

Но тут же загрустил: снова придется пить. Понаедут Вован и Толян с телками, да еще карнавал... можно представить себе, что это будет за зрелище. Им достаточно вырядиться самими собой.

Шунт вздохнул и решил не завтракать, устроить себе разгрузочный день. Вечером он всё равно набьет себе брюхо, а на голодный желудок лучше работается. Надо будет подробно описать эту ледяную забаву да при этом не повториться – кликнуть, что ли, шофера? Пусть доставит ему хотя бы том Лажечникова...

Он действительно послал шофера за книгами, и никто не чинил ему в этом никаких препятствий.

7

Неизвестно, сколько заплатил мастерам Тронголов, но вышло по его слову: к вечеру ледяной дом был готов. Шунт не верил своим глазам, ему казалось, что это физически невозможно. Однако вот он, дом, немногим ниже самого дворца, стоял перед ним: с узорчатыми башенками, с трогательными оконцами, в которых уже горело электричество, с широким крыльцом и колоннами, действительно имевшими в себе нечто античное. Таково, впрочем, свойство подавляющего большинства колонн.

Гости уже съезжались: давно примелькавшиеся «мерседесы» и джипы, надоевшие и неприятные Шунту. Личности, выходявшие из машин, выглядели омерзительно и непристойно. К очередному удивлению Шунта, Тронголов позаботился об историческом правдоподобии ряженых. Такими они, вероятно, и были во времена Бирона: в куриных перьях, с петушиными клювами вместо головных уборов, с кабаньими мордами. Вся честная компания гоготала, хрюкала и лаяла, разливая по фужерам водку; сам Тронголов нарядился не то каким-то царем, не то божеством: петровская треуголка, алый плащ и бутафорские крылья, которые

постоянно били его по задку, выпихивая вперед, и Тронголов ругался, обещая кому-то оторвать руки. Альма вертелась среди гостей, и про нее не забывали – бросали ей разные предметы, которые она исправно приносила назад. Ее тоже принарядили в белую кружевную одежду, которая ближе к хвосту переходила в расправленную жесткую юбочку.

Шунт стоял на балконе, когда его заметил Тронголов.

– Эй, писатель! – закричал он грозно. – А ну надевай камзол! Сегодня ты не отвертишься!

Шунт прижал руки к груди, и Тронголов подошел ближе, чтобы его было лучше слышно.

– Ты ведь у нас не без юмора, как я заметил? Мы тоже умеем и любим пошутить. Всё это, – он обвел собрание рукой, – затеяно, можно сказать, для тебя персонально. День писателя отмечаем – что, не угадал? Ну и хрен с ним. Слезай, кому сказано!

Гогот и кудахтанье неимоверно усилились. Взорвались петарды, и черное небо над лесом осветилось инопланетными огнями. Отдельно высветился православный батюшка – тоже переодетый, ненастоящий, в шубе, накинутой поверх рясы. У него была густая накладная борода и темные очки.

Камзол висел в шкафу, и Шунт покорно надел его, не забыв поддеть шерстяной свитер. Мороз стоял изрядный, а в замок, похоже, никто не собирался переходить. Поправляя парик, он испытал неприятное чувство, как будто тот тоже был элементом карнавального костюма и соответствовал звериным нарядам гостей. Когда он вышел во двор, собравшиеся восторженно зааплодировали. Вход в ледяной дом был ярко освещен, а по бокам стояли хорошо знакомые Шунту бизнесмены, перекрашенные в негров.

В позвоночнике запела расстроенная струна: опасность, опасность! Шунт беспомощно огляделся: коллатералей не было, и он, одинокий и беспомощный, стоял на ковровой дорожке, слегка припорошенной снегом.

Водитель Тронголова тем временем взял Альму на поводок.

Салют участился, испещрявая небо инфекционной сыпью.

Гремела музыка: обычное «мясо», то есть ритмичные басы, глубина которых бывает предметом соревнований между автолюбителями. Фальшивый батюшка облачался в какие-то дополнительные одежды, названия коих Шунт, всегда далекий от религии, не знал; эти предметы сообщали мнимому попу торжественность, придавали величие. Последним появилось настоящее кадило, уже курившееся.

– Дамы и господа! – вострубил Тронголов. Это обращение прозвучало в его толстых устах непривычно, так как в обыденных случаях он ограничивался словами «братва» и «братаны». В руке у Тронголова пылал факел. – Мы собрались здесь по весьма знаменательному случаю. Намереваясь продолжить традиции... – Он запнулся. – Традиции чего? – обратился он к Шунту. – Ты должен знать!

Шунт пожал плечами.

– Отечественных развлечений, – пробормотал он первое, что пришло ему в голову.

– Вот именно! – Тронголов пришел в восторг. – Отечественных развлечений. У Альмы тетка, и мы сегодня пожемим их с господином писателем.

Пространство и время наполнились дьявольским визгом. Уродливые существа в шкурах и перьях приплясывали, чокались, выпивали; кто-то прибавил звук, и «мясо» расплзлось по всей округе. Коллатераль бежала перед Шунтом: единственная, исчерченная высветленными полосками, подобно шоссе. Она вела в ледяной дом, залитый светом, и не давала возможности шагнуть влево ли, вправо, или подпрыгнуть, или провалиться под землю.

Шунт, сделав над собой сверхъестественное усилие, изобразил гримасу: забавно, братаны, хорошая шутка.

– Мне бы карлицу Буженинову! – крикнул он с притворной требовательностью в голосе. – Подайте! Традиция не соблюдена! Я протестую!

– Традиция приумножена, – возразил Тронголов, щегольнув изящным словцом. – Снимай штаны, умник, да пошевеливайся, а то получится с тобой, как с Карбышевым... Альму подержат, не ссы.

– Да пусть заледенеет, плотнее войдет! – послышался пьяный возглас, изданный каким-то гусем – с клювом, в фуражке и при гармошке.

Шунт не шевелился. Альма, удерживаемая водителем, часто дышала, вывалив малиновый язык.

8

В замке не осталось ни души, все высыпали на двор. Тронголов подошел к неподвижному Шунту и осветил факелом так, что парик затрещал и едва не занялся пламенем.

– Снимай штаны, чмо, – сказал он негромко. – Посмеивался над пацанами, да? Думал, никто не видит? Ты, мол, звезда, а мы у тебя пыль под ногами?

Шунт сделал шаг назад, потому что факел был поднесен очень близко.

– Сегодня трахнешь собаку, а завтра я специально достану тебе свинью. Она тебе музой будет. И будешь писать про то, что людям интересно. А не свиньям! Ты думал, здесь свиньи собираются? Нет, свиньи – там, – он неопределенно махнул факелом в сторону леса. – А здесь ты среди людей. И будешь писать то, что им захочется прочитать. Раздевайся, сука, иначе я тебя прямо здесь пристрелю.

Гости не слышали, что говорил Тронголов Шунту, но догадывались, что разговор происходит жесткий. Многие примолкли и с готовностью взвыли только тогда, когда Шунт медленно взялся за брюки.

– Намордник наденьте, – предусмотрительно распорядился Тронголов.

– Кому? – издевательски осведомился кто-то, и Тронголов захохотал. Альме надели намордник и подвели к Шунту, который к тому моменту уже успел расстегнуть молнию до середины.

– Это бесполезно, – промямлил он. – Я старый человек, во мне всё умерло. Мне перевалило за шестьдесят.

– Мы тебя виагрой накормим! – крикнул Вован.

– Да не надо ему никакой виагры, он просто постареется, потому что знает, что так для него будет лучше, – улыбнулся Тронголов.

В голове Шунта вдруг забубнили голоса, множество голосов. Они несли полную невнятицу, пререкались, жаловались, угрожали, плакали, распевали безумные песни. Сперва он решил, что просто повредился в уме, но быстро сообразил, что это заговорил парик. Покинутые коллатерали сошлись в основании черепа, устроив нечто вроде перекрестка. Все направления и жанры слились воедино, и каждый имел в себе мрачное, трагическое содержание; многочисленные клиенты заново завернулись в простыни и расселись по креслам перед зеркалами, до бесконечности отражавшимися в зеркалах; в самой середке этого кома восстали убитые и бросились наутек, все в разные стороны, но ограниченность кома их не пускала, и у них получался бег на месте, увековеченная попытка спастись от убийственных ножниц. Затылок заболел с такой силой, что Шунт схватился за него, и Тронголов выхватил пистолет и выстрелил ему под ноги, продырявив дорожку и выбив снежный фонтан:

– Хватит косить!

Вокруг гремели петарды, и выстрел затерялся среди этого грохота; Шунт не слышал слов Тронгорова и догадался о случившемся лишь по маленькому снежному взрыву, который образовался прямо перед ним; пистолет он заметил уже потом и удивился, почему так поздно, почему он появился на сцене не вчера и не позавчера.

Тронголов, которому надоело канителиться с застенчивым писателем, подошел к Шунту и рванул брюки; те съехали до колен вместе с трусами. Девицы, снятые в ближайшем бардаке, согнулись от хохота, когда увидели сморщенный, побуревший, микроскопический член Шунта.

– Девки, давайте разогреем деда! – предложила одна.

Галдя и визжа, они окружили Шунта – расселись вокруг него на ковровой дорожке, а кто-то и прямо на снегу. Профессионализм этих самозванных ассистенток был очевиден, хотя и не приводил ни к какому результату; сам же по себе Шунт стоял как каменный и думал только о Мотвине, который сейчас представлялся ему добрым волшебником из детской вечерней сказки.

До него донеслось:

– Эти и мертвого поднимут!

Скосив глаза, он увидел, что естество его, попирая всякую логику и законы природы, начинает подавать жалкие признаки жизни.

– Молодцы, девки! – выкрикнул Тронголов. – Давай не ленись! Двойная оплата! Горохов, разверни суку и подтащи!

Шофер потянул Альму, которая в невинности своей с готовностью поднялась и пошла, чуть виляя хвостом и приветливо зыря по сторонам. Проститутка, в этот момент трудившаяся над Шунтом, отвалилась и вытерла рот.

– Давайте скорее, дед сейчас заснет!

Выступили двое ряженных и взяли Шунта под локти, чтобы не дергался. Тронголов лично помог шоферу Горохову приладить овчарку, так что операционное поле оказалось прикрытым юбочкой Альмы, а потом обежал вокруг группы и наподдал Шунту пинка:

– Двигайся! Шевелись, мать твою!

Тот несколько раз качнулся; как раз и ряженный батюшка подошел, размахивая кадиллом и завывая; он пел какую-то дьявольскую околесицу, не имевшую отношения к настоящему богослужению, но кое-чего понадергал: «Венчается раб Божий рабе Божьей... прилепится, да не отлепится, да убоится, да из одной чаши выпьют...»

Щелкали фотоаппараты, кто-то снимал происходящее на видеокамеру.

Кадилло сменилось кропилом, и Альма завертелась, когда на нее упали крупные ледяные капли.

– Порядок! – проревел Тронголов, уже сильно пьяный. – Теперь – торжественный променад с посещением архитектурного сооружения!

Шунта оттащили от собаки и, всё так же под руки, повели в ледяной дом; Альму вели рядом. Она держала себя так, словно ничего не случилось – вероятно, в ее понимании действительно не произошло ничего особенного. Вновь зашипели петарды, к ним прибавилась пальба из настоящего оружия: сучья свадьба, разбойничья избушка. Шунт шел по коврику, освещенный наспех протянутыми гирляндами лампочек. Штаны с исподним оставались спущены, застряли на уровне колен, мешали идти, и он двигался смешной семенящей поступью. Ему казалось, что его изловили и наказали сразу на всех коллатералях, где он побывал, а здесь эти действия приняли символический характер: ему показали, где его настоящее, писательское место от века, где место всем ему подобным – ведь он им был, литератором, и только теперь Шунт начинал постигать, насколько талантливым. Он мог написать... он черт знает что мог написать. Он даже знал теперь, о чем напишет.

Он думал, что проходил через дом целую вечность; в окна то и дело просовывались пьяные рожи и надували щеки или пучили глаза, оскаливали пасти; все это были знакомые Альмы, она всех их знала и отвечала доброжелательными взглядами. Это была на удивление добродушная псина. Шествие, однако, закончилось очень быстро, и на выходе Шунт уже ни для кого не представлял интереса. О нем забыли, разве что Тронголов как ни в чем не бывало подошел,

обнял за плечи и предложил выпить на брудершафт. Казалось, что он не только позабыл о своих недавних угрозах со стрельбой – их и не было вовсе. Шунт не стал отказываться – почему бы и нет? Потом его бросил и Тронголов, вокруг ледяного дома началась какая-то новая забава. Оставшийся в одиночестве Шунт побрел во дворец; прислуга взирала на него бесстрастно, хотя ему хотелось думать, что с затаенным сочувствием. Но тут же он вспомнил, как командовал этими людьми, и понял, что на сочувствие рассчитывать не приходится.

Штатный халдей, загримированный под лакея образца восемнадцатого столетия, подошел и спросил, не желает ли господин историограф откушать, пока еще всё горячее, с мороза-то; Шунт отказался откушать и прошел к себе. Сел, но тут же спохватился, вскочил и бросился в ванную, где долго отмывался, зная, что не отмоеся.

Вернувшись в кабинет, он стянул парик, положил перед собой, разгладил, перебрал волоски. Всё оказалось напрасным, всё было зря. Он посмотрел в зеркало: ему ответил унылым взглядом умудренный душегуб, располневший старик с умным и грустным лицом.

Шунт прикидывал: хватит ли ему дней, чтобы написать Настоящую Вещь, – теперь он был вполне готов взяться за это дело. В компании с Тронговым любой век недолог, но с этим ничего не поделаешь, тут уж как повезет. Хватит ли ему сил, отмеренных Свириду Водыханову? Не стоит загадывать, подумал Шунт. Надо писать. Надо петь среди чумного мора, как пела пушкинская Мери. Настоящая Вещь – она уже готова, осталось только перенести ее на бумагу.

Он вынул лист и от руки вывел имя автора: Свирид Водыханов.

Он не боялся ограничиться одним рукописным экземпляром: никто не прочтет.

Натюр морт

Любое совпадение с реальными событиями случайно, произошло не по вине автора, и последний не намерен нести за это никакой ответственности.

1

Проснувшись, Антон Белогорский сразу понял, что со сном ему повезло. Впечатление от сна осталось настолько сильное, что Антон, очутившись по другую сторону водораздела, какие-то секунды продолжал жить увиденным. Возможно, он слишком резво выпрыгнул в утро. Сознание вильнуло хвостом, и гильотина ночной цензуры лязгнула вхолостую. Антон запомнил не очень много, но запомнил в деталях – он не сомневался, что ни единое стёклышко не выпало из капризной мозаики сновидения. Сюжет был прост: какая-то закусочная, он клеит сразу трёх девиц, которые – после недолгих раздумий – согласны отправиться, куда он скажет, вот только подождут четвёртую подругу. Антон записывает их имена в записную книжку – одни лишь начальные буквы имён. Четыре буквы, вписанные почему-то в четыре клеточки квадрата, образуют слово «mort» – смерть, и он, сильно удивлённый, открывает глаза. Ему удаётся сохранить нетронутым полумрак телефонной будки, где он записывал в книжку; при нём же остаются розовый, лиловый и сиреневый цвета платьев, а сами платья, помнится, были легчайшими, из воздушного газа.

Прочие подробности, сливаясь в цельную мрачноватую картину, служили фоном и поодиночке неуклюжим разумом не ловились. То и дело выскакивали разные полужнакомые, размытые лица – на доли секунды, и тут же кто-то сокровытый оттаскивал их назад, за кулисы. Антона эти неясности оставляли равнодушным, ему хватало девиц и квадратика с буквами. Исключительно правдоподобный сон – знать бы, чем навеян. Возможно, этим? Белогорский поднял глаза и начал в сотый раз рассматривать висевшую на стене картину. Это был натюр-морт, изображавший фрукты, овощи и стакан вина. Картина была куплена по вздорному велению души, недорого, и провисела в комнате Антона не меньше года. Накануне – в ночной тишине, засыпая, – он тщился угадать во мраке знакомые очертания груш и огурцов. Конечно, «морт» приплыл оттуда, больше неоткуда плыть. А что касается незнакомых девиц – они, наверно, второстепенное приложение и сами по себе ничего особенного не означают. Итак, разобрались, и хватит с этим, пора отбросить одеяло и заняться каким-нибудь делом.

Дела, собственно говоря, не было. Антон Белогорский состоял на учёте на бирже – его сократили и вынудили жить на пособие. Сократили, между прочим, не как-нибудь в стиле Кафки – не было безликого государственного монстра, который равнодушно оторвал мелким винтиком. Бушевали страсти, и вполне живые, во многом неплохие люди так или иначе принимали участие в судьбе Антона, да и сам он скандалил, сражаясь за место под солнцем, и даже – совсем уж вопреки кафкианским обычаям – мог всерьёз рассчитывать на победу. Но только не повезло, и теперь Антону было совершенно всё равно – Кафка или не Кафка. Литературных аналогий было много, а суть свалившейся на него беды нисколько от них не менялась. На первых порах Белогорский ещё держался орлом, но постепенно начал опускаться, выбирая в качестве жизненного кредо апатию и всё с ней связанное. Он слегка отошал, перестал пользоваться дезодорантом, сапожную щётку засунул куда подальше, усов не ровнял и перешёл на одноразовые услуги «бленд-а-меда» – пока не кончился и «бленд-а-мед». С каждым разом, после возвращения с биржи, от него всё явственнее пахло псиной. Из зеркала взирал на него

исподлобья угрюмый коротышка с зализанными назад редкими чёрными волосами, неприятно маленьким, острым, шелушащимся носиком и обветренными губами.

Поэтому в то утро, поскольку важных дел и встреч, повторимся, не было, Антон решил вообще не подходить к зеркалу. А заодно и не есть ничего – ну её в парашу, эту еду. Выпил холодной воды из-под крана, как попало оделся и вышел из дома, нащупывая в кармане огорчительные мятые десятки. Он плохо себе представлял, на что стоит израсходовать наличность – в его положении с соблазнами уже не борются, их просто не замечают, а если исключить соблазны – что останется? Крупами да макаронами он предусмотрительно запасася, за квартиру, озлобленный донельзя, не заплатит из принципа, даже если появятся деньги – пусть попробуют выселить. Тут Антон Белогорский поморщился – что за убогие мысли и образы! интересы – те просто насекомьи, а тип мышления какой-то общепитовский. И в петлю не хочется тоже. Петля как идея обитала в сознании Белогорского с самого момента увольнения, но эта идея оставалась холодной, абстрактной и абсолютно непривлекательной. Будто компьютер, рассмотрев варианты решения проблем, вывел их все до последнего на экран монитора, не забыв и про этот простого порядка ради.

Короче говоря, Антон направился в центр. В конце концов, туда ведут все пути. Конечно, кинотеатры, «Баскин Роббинс» и «Макдональдс» исключались – в центре Белогорский не мог себе позволить даже стакана чаю. Но он вдруг с чего-то решил, что сама геометрия родного Петербурга подействует на него исцеляюще, хотя многочисленные отечественные писатели не раз предупреждали его об обратном. Дойдя до метро, Антон, после небольших колебаний, потратился на газету бесплатных объявлений и в течение двадцати минут езды с трагической усмешкой штудировал раздел вакансий. От него требовали опыта работы с каким-то ПК, категорий В и С, водительских прав, физической закалки, длинных ног, вступительных взносов, двадцатипятилетнего возраста и принадлежности к женскому полу. Желательным условием было также знание языков, лучше – двух, и вдобавок не худо бы было ему разбираться в бухгалтерском учёте – будучи, естественно, женским длинноногим полом в возрасте до двадцати пяти лет. Плюгавые лысеющие брюнеты спросом не пользовались. «Водительские права! – Белогорский желчно хмыкнул. – Якобы всех прочих прав уже полна коробочка – не хватает лишь водительских. Самой малости не хватает».

Тут к нему пристало помешавшееся существо неопределённого пола – как будто женского, но Антон не был в этом уверен. С нескрываемым безумием в голосе существо спросило: – Ты думаешь, водяной умер? С ним всё в порядке, не беспокойся. Он в Одессе. Сейчас мы поедем к нему на аэродром.

Плюнув, Антон поднялся и пошёл к дверям.

Покинув поезд, он поискал глазами урну, не нашёл и с мелочным злорадством, несколько раз оглянувшись, швырнул газету под лавочку. На эскалаторе вёл себя смиренно и лишь провожал мрачным взглядом проплывающие мимо лампы-бокалы, наполненные до краёв тусклым коммунальным светом. Балюстрада глухим голосом соблазняла пассажиров: «Снова в городе пиво Чувашское! Попробуйте только один раз – и вы наш постоянный клиент!» Антон вышел на улицу, шагнул, хрустнул зеркальцем подмёрзшей лужи и принял подношение, которое раз и навсегда решило его судьбу. Обычно подозрительный и осторожный (так ему казалось), он снова, в который раз, зазевался и машинально взял красочную листовку, которую вложил ему прямо в руку какой-то молодой человек. Ни о чём особенном не думая, Антон поднёс листок к глазам, замедлил шаг, остановился. Его начали толкать, он бочком отодвинулся и продолжал рассматривать незнакомую эмблему. Большое, ярко-алое сердце взрывало изнутри опешивший череп и победоносно сияло в кольце из костных обломков. Кости были нарисованы чёрным, а всю картину в целом заключили в белый круг на красном фоне. Белогорский перевернул бумажку и обнаружил текст. Прочитал он следующее:

ВЫ – НИКТО? ВЫ – НЕКРАСИВЫ? ВЫ – ИЗГОЙ ОБЩЕСТВА?

**ВАС ВЫГНАЛИ, УНИЗИЛИ, РАСТОПТАЛИ, ОКЛЕВЕТАЛИ?
У ВАС НЕТ РОДИНЫ? НЕТ ТАЛАНТА? НЕТ ДОСТИЖЕНИЙ?
КОРОЧЕ ГОВОРЯ – ВАМ НЕЧЕМ ГОРДИТЬСЯ?**

НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!

ПРИХОДИТЕ В «УЖАС»!

«УЖАС» – ЭТО:

– УТВЕРЖДЕНИЕ

– ЖИЗНИ

– АКТИВНЫМ

– СПОСОБОМ!

**СОБЕСЕДОВАНИЕ ЕЖЕДНЕВНО ПО АДРЕСУ: УЛИЦА
ПУШКИНСКАЯ, Д. 10/01, В 12. 30**

Антон снова перевернул листок и повторно изучил рисунок. Потом посмотрел на раздатчика пригласительных билетов – то был парень лет восемнадцати, одетый в гимнастёрку, галифе и высокие сапоги, затянутый в ремни, лицом неинтересный и с нарукавной повязкой, где красовалось всё то же сердце, взрывающее череп. Помимо листовок, были у юноши ещё и газеты – целая пачка листов, перекинутых через согнутое левое предплечье. Красно-бело-чёрная гамма пробудила в Белогорском совершенно недвусмысленные ассоциации. Однако заложенное в эмблему содержание казалось вполне благопристойным. Разбитый символ смерти, торжествующий символ жизни... Нет, разумеется, Антон не сомневался ни секунды, что ему предлагают посетить очередную западню. Он успел приобрести богатый опыт по части «Герба-лайфа», «Визьона», «Ньювейса», сайентологии и прочих структур, где всё начинается с уплаты колоссальных сумм за право деятельности. Но он, как ни грустно признать, сделался своего рода наркоманом и на подобные мероприятия ходил, измученный бездельем, будто на службу. Он знал все уловки и хитрости, на которые пускались устроители презентаций с целью околдовать своих безмозглых гостей; он стал, между прочим, приличным экспертом по части рекламы и именно в этой области мог быть полезным, но общество не испытывало недостатка в подобных специалистах. Антон рассудил, что шокирующая, примитивная аббревиатура «УЖАС» является основной приманкой – не самой, кстати сказать, высокой пробы. Призванная, казалось бы, отпугивать посетителей, она, напротив, оборачивается главным, что будет их привлекать. Но, как бы он ни относился к уровню ловушки, крючок Антон хапнул – жадно и бездумно. У него, во всяком случае, появилось занятие.

Белогорский вернулся к раздатчику.

– Сколько придётся заплатить? – спросил он в лоб, показывая, что зазывала имеет дело с человеком бывалым.

– Нисколько, – ответил тот, не удивляясь, поскольку привык к этому вопросу. Его задавал каждый второй.

– Ну, не надо, молодой человек, – протянул Антон скучным голосом. – Не задарма ж вы тут стоите. Какой вам резон?

Парень ловко выдернул из пачки газет один экземпляр и подал занудному типу со словами:

– Вот, возьмите – почитаете, и всё станет ясно.

Раздатчик дежурно улыбнулся и бросился с листовкой к очередной вороне, глазевшей по сторонам. Антон посмотрел на часы – была половина двенадцатого, он успевал с большим запасом. Криво улыбаясь, Белогорский встал в сторонке и впился глазами в газетный лист. Печатное издание называлось: ««УЖАС» России», а передовица была озаглавлена так: «До победы – рукой подать». Антон, прежде чем начать чтение, заглянул в конец и обнаружил, что статья подписана неким кандидатом философских наук по фамилии Ферт. Отметив, что писал

кандидат, а не, скажем, профессор, что позволяло косвенно судить об уровне организации, Антон взялся за сам текст. В частности, он прочитал:

«...Социальный статус индивида во многом зависит от самооценки, и если последняя изначально занижена, то это является причиной большинства жизненных неурядиц. Снижение самооценки может быть обусловлено как субъективными, так и объективными факторами. Среди субъективных отметим Адлеровский комплекс, органические заболевания нервной системы, иные физические, конституциональные дефекты – мы не ставим себе целью рассматривать все эти моменты. Наша задача – подробнее остановиться на факторах объективных. Любое общество располагает, в зависимости от господствующей идеологии, теми или иными ценностными стандартами. К ним можно отнести личную инициативу, коллективизм, показатели интеллекта, национальность, принадлежность к той или иной расе, вероисповедание, физическое совершенство, партийность и так далее. Встаёт вопрос: как следует вести и чувствовать себя личности, интеллектуальный уровень которой можно оценить как средний, инициатива отсутствует как таковая, работа в коллективе не приносит удовлетворения, национальность и раса – не поймёшь, какие (к примеру, еврейский отец и киргизская мать, притом оба – наполовину, поскольку бабушки и по той, и по другой линии были хохлячками)? Как жить и чем гордиться субъекту, который не имеет каких бы то ни было достижений и заслуг, не верит в Бога, плюёт на политические партии, а телесно – немощен и слаб, вдобавок же – не отличается внешней красотой в общепринятом смысле? Разве перед нами не человек?»

Антон невольно покачал головой – словно про него написали. Ниже Ферт заявлял:

«Итак, что осталось после удаления шелухи? Нет ни веры, ни идей, ни национального самосознания. Нет ничего, на что мог бы опереться простой человек – человек, каких большинство! Но мы берёмся с этим поспорить. Мы утверждаем, что – есть! есть предмет, которым вправе гордиться действительно любой из живущих! Потому что предмет этот – сама жизнь. Мы гордимся жизнью как таковой, мы превозносим тот факт, что мы попросту живы, и кто обвинит нас в каком-то заблуждении, если больше гордиться нам нечем? Мы не делаем из этого обстоятельства никакого секрета, мы не видим в основе нашего достоинства ничего постыдного...»

Антон, которому выводы Ферта показались нелепыми и далёкими именно от жизни, с нарастающим раздражением перешёл к другой статье. Эту написал некий церковный деятель, чей титул ни о чём не говорил Белогорскому. Белогорский вообще не интересовался вопросами религии, поэтому он лишь бегло просмотрел статью, речь в которой шла об иллюзорности смерти, предстоящем торжестве вечной жизни, равной в сущности самому бытию. Прочитанный бред его успокоил – в том успокоении присутствовала известная извращённость неудачника. Ему не придётся принимать решений. Организация «УЖАС» полностью скомпрометировала себя в глазах Антона, этим психам не поверит даже ребёнок, и значит, Белогорскому не придётся мучиться, гадая – прав он был или не прав, когда отверг предложение. Теперь он со спокойным сердцем мог пойти и поглазеть на бесплатный цирк.

2

До места, указанного в листовке, оставалось пройти квартал; Антону начали попадаться люди, одетые по-военному и с повязками на руках. Они оживлённо беседовали друг с другом, курили «Лаки Страйк» и демонстрировали нарочитое безразличие к прохожим. «Стар приёмчик, – улыбнулся про себя Антон. – Дескать, много их. А раз много – не все же они дураки. Присоединяйтесь! Они ещё посмотрят, взять ли нас. А сами спят и видят, как бы окрутить побольше козлов». Он шёл не спеша, готовый потешиться всласть. Возможно, он даст охмурилам надежду, проявит нерешительность. Они возьмутся за него с утроенной силой, начнут уговаривать и убеждать, предложат взять кредит – да прямо у них! Прямо тут же, не отходя! Если нет у него с собой денег на вступительный взнос! Да! Как будто он не знает, что всё упирается в деньги! Иначе зачем наряжаться, как пугала! Печатать газетки и листовочки! А как же! Ясно, у них контора самая лучшая. Только-только открылась. Ваше процветание обеспечено, уважаемые гости! Только доверьтесь! «Хрен вам», – пробормотал Антон мечтательно и переключился на простых прохожих. Сутулые спины и опущенные плечи выдавали потенциальных гостей. Антон приосанился. «Так называемая биомеханика позвоночника, – подумал он. – Человеческая жалкая тварь гуляет не хер гордо выпятив, а задницу отклячив, как предвечно замыслено», – Антон додумывая мысль, закончил её оборотом из только что просмотренной религиозной статьи. Он подошёл к парадному подъезду; там толпился народ – большей частью бесцветные соколы «УЖАСа». Двое торчали у самых дверей, один из них задержал Антона и вежливо спросил, к кому он направляется.

– Не знаю, – пожал плечами Антон, слегка растерявшийся от очевидной наглости вопрошавшего. Даже не скрывают, что нужно прийти не вообще, а к кому-то! Ведь система известна: кто вербовщик, тот и получает куш! Хоть бы подождали чуть-чуть, попытались запудрить мозги, а уж потом показывали истинное лицо компании.

Краснорожая обезьяна в гимнастёрке взяла у Белогорского пригласительный билет.

– Вот же написано – вам к господину Ферту, – медленно, словно дебилу, объяснил часовой.

– Неужели к самому Ферту? – издевательски поразился Антон, обнаружив, что верно! мелкими буквами внизу было приписано – «инструктор Ферт».

– Вы с ним знакомы? – Краснорожий благожелательно ослабил.

– Шапочно, – ответил Антон и отобрал билет. – Куда мне пройти?

– В конференц-зал, на втором этаже.

Антон вошёл в здание, спившийся сокол крикнул ему вдогонку:

– Гардероб сразу направо, за углом! У нас принято снимать верхнюю одежду!

«Обойдётся», – пробормотал Белогорский себе под нос и начал подниматься по лестнице как был – в грязно-коричневой куртке и вязаной шапочке «Seiko». Поднимаясь, он намеренно разжигал в себе гнев: «Что творится! Явные фашисты – и пожалуйста! помещение в центре города, милиции нет... Рано или поздно доиграемся!» На втором этаже его встретила очередная гимнастёрка. В руках у воина был серебряный поднос с канапе и фужерами, полными белого вина.

– Только куртку придётся оставить внизу, – молвил угощатель с сожалением, но непреклонно.

Антон сбился с шага. Вином его пока что нигде не встречали. После двухсекундного раздумья гонор слетел с него, и Белогорский покорно отправился в гардероб. Оставшись в нестиранном свитере, он вновь поднялся по ступеням, где строгий встречающий с лёгким поклоном пригласил его выпить и закусить. Антон взял фужер, неловко подцепил канапе и оглянулся, не зная, куда со всем этим податься. Бесстрастная гимнастёрка терпеливо ждала. «Он ждёт

фужер», – догадался Антон, быстро выпил, поставил посуду на поднос и с канапе в руке последовал в конференц-зал. Там к тому времени собралось уже много народу – в основном, типичные читатели «Из рук в руки» – газеты бесплатных объявлений. Их затрапезный внешний вид возбуждал желание немножко изменить заголовок и зарегистрировать газету под более справедливым названием – «Из брюк в руки». Динамик величиной с добрый комод гремел незнакомым маршем. Литавры, барабаны и трубы наводили на мысли о седобородых вояках со шрамами, затупившихся мечях и ратной доблести как форме бытия. Мелодию Антон слышал впервые, зато слова на музыку ложились какие-то знакомые. Что-то из школы... Чёрт побери, да это же Блок! «О, весна без конца и без края! Без конца и без края мечта! Узнаю тебя, жизнь, принимаю! И приветствую звоном щита!»

«Однако! – покачал головой Белогорский. – Вот так гимн!» Он хорошо знал, что все без исключения проходимцы, создавая компанию, выбирали в качестве гимна какое-нибудь популярное, заводное произведение. Тот же «Гербалайф» весьма, помнится, удачно использовал вокальное мастерство Тины Тернер. Но «УЖАС» рискнул придумать нечто оригинальное, своё, и марш – надо отдать ему должное – не подкачал в смысле музыки. Стихи, конечно, критическим нападкам не подлежали.

Антон искал свободное место – чтоб было не слишком далеко и не слишком близко. На заднем ряду ничего не услышишь, а с первого могут дёрнуть на сцену для какой-нибудь идиотской демонстрации. Он был сыт по горло подобными трюками – ему неоднократно мазали рожу лечебными кремами, опрыскивали сексуальными духами и вовлекали в показательные, оскорбительные для человека дискуссии. Место нашлось – в восьмом от сцены ряду, с краю. Устроившись поудобнее, Белогорский проглотил, не жуя, канапе и начал глазеть по сторонам.

Всё вокруг наводило на мысль об очередном жульническом шабаше. Всё, кроме нескольких мелочей – пресловутого бесплатного подноса, военной формы хозяев и... да, конечно! Сцена была абсолютно пуста, если не считать обязательного для всех таких собраний микрофона. До сих пор первым, что бросалось в глаза Антону на презентациях, было изобилие образцов продукции. После всегда предлагался один и тот же сценарий – сперва немного об исключительных достоинствах этой продукции, потом – о фантастической прибыли с её оборота: только и знай, что впаривать ее лохам с утра до вечера. Здесь же не было ничего. «Неужели раздавать газеты?» – подумал Антон в недоумении. Дальше этого предположения его фантазия не шла. Он внезапно почувствовал себя не в своей тарелке при виде задника, изображавшего знакомые сердце и череп. Всмотрелся в лица сотрудников «УЖАСа» – ни одного образчика классической красоты – либо воплощённая серость, либо очевидное безобразие. В этот момент музыка неожиданно смолкла, и воцарилась напряжённая тишина. Приглашённые тупо смотрели перед собой, некоторые осторожно обменивались бессмысленными замечаниями. Ожидание длилось недолго: динамик вдруг рявкнул, и хозяева массовки, до того момента сидевшие, развалясь, и якобы болтавшие о пустяках, вскочили на ноги, вытянулись по струнке и испустили короткий воинственный вопль. Их вид впечатлял, поэтому гости тоже зачем-то поднялись со своих мест и замерли в нерешительности, хотя никто не призывал их вставать. Только стойка «вольно» в какой-то степени извиняла их единодушный порыв. Антон Белогорский ощутил, что ноги его самостоятельно, помимо воли, выпрямились, и он тоже стоит. Рёв из динамика нарастал, потом резко оборвался, и послышалась барабанная дробь. Сзади затопали; зрители начали оглядываться – по проходу к сцене шли шестеро знаменосцев с седьмым – барабанщиком – во главе. В складках обвисших знамён скрывалась уже известная анатомическая композиция. Грозно печатая шаг, знаменосцы поднялись по ступенькам, выстроились в шеренгу и дружно стукнули древками о деревянный пол. Тут же вернулся недавний жизне-радостный марш – слова Блока, музыка народной революции. На сцену вышел упакованный в форму жердяй и отрывисто махнул рукой невидимому дирижёру. Звук приглушили, ведущий вытянул руки по швам и звонко объявил:

– Дорогие гости! Уважаемые дамы и господа! Наше общество горячо приветствует всех собравшихся! Имею честь предоставить слово теоретику нашего движения! Вы услышите уникального человека, незаурядного руководителя, не побоюсь сказать – выдающегося мыслителя наших дней! Приветствуйте – господин Ферт!!

Жердяй, произнося вступительное слово, забирал всё выше и последнюю фразу произнёс в диапазоне, близком к ультразвуковому. Оглушительная музыка хлынула в зал; под грохот аплодисментов по ступеням пошёл высокий полный субъект, который был одет в гражданское платье – строгую синюю двойку и галстук. Человек, изображая лёгкое смущение от незаслуженных похвал, приблизился к микрофону, где ни с того ни с сего похлопал багровому от счастья конферансье, тут же стал очень строгим и властным и отеческим жестом попросил публику прекратить подхалимаж. Аплодисменты быстро стихли, Ферт удовлетворённо сверкнул очками.

– Как много вас, любезные сограждане! – сказал он громко. Голос у кандидата наук был сытый, задушевный. – Не знаю, как нам и быть! Мы не ожидали такого наплыва...

К Антону вернулась способность судить об окружающем здраво. Тем более он снова слышал нечто родное, давным-давно надоевшее. «Нашёл дураков! Не ожидали... Вам чем больше, тем лучше. Примитивный блеф для домохозяек...» Ферт озабоченно потёр руки:

– Впрочем, дело не терпит, давайте начнём. Все вы пришли сюда потому, что каждого из вас что-то в вашей жизни не устраивает. Имея некоторый опыт, я скажу с уверенностью, что в подавляющем большинстве случаев виновата тяжёлая финансовая ситуация. И потому, – Ферт слегка наклонился вперёд и значительно поднял палец, – я сразу объявляю, что наша организация в состоянии обеспечить вам прожиточный минимум. Причём не тот, который принято считать официальным... Кроме того, чтобы развеять неизбежные подозрения, отмечу особо, что никаких вступительных взносов у вас не попросят.

Белогорский сидел, наострив уши. Он ничего не понимал. Мошенничество было налицо, но раньше он ни разу не слышал, чтобы проходимцы столь прямо и откровенно отказывались от поборов. Где же зарыта собака? Без собаки не бывает, изъятие денег у безработных баранов является основой существования всякого общества, которое позволяет себе ежедневные «открытые двери». Неужели он ошибся? Неужели – не пирамида? Нет, невозможно. Антон огляделся; на лицах соседей было написано такое же, как у него, недоверие. А также – помимо недоверия – другие чувства: раздражение из-за того, что в кои веки их вынуждают чуточку подумать, а не спать, полуживая надежда вытянуть счастливый билет и тяжкая мука по причине самого мыслительного процесса – непривычного и нежелательного.

Ферт, повывавший виды, читал их мысли легко и свободно.

– Это не сказки и не обман, почтенные сограждане. Кое-какими средствами мы располагаем – не скажу, что уж слишком большими, но всё же, всё же... Во-первых, у нас есть щедрые спонсоры из тех магнатов и нуворишей, которые нам сочувствуют. Вот, например, – и Ферт неожиданно заворковал по-иностранному. То ли по-английски, то ли по-французски, а в целом весьма невразумительно, он перечислил с десятков компаний и фирм. Аудитория вновь настояжилась; кандидат наук поспешно перешел ко второму пункту. – Во-вторых, – сказал Ферт, – мы зарабатываем деньги сами. Вам хорошо известно, что только в мышеловках встречается бесплатный сыр, а потому спешу вас заверить – ничто не свалится на вас за просто так, с неба, и поработать придётся. Я говорю о конкретной, общественно полезной работе.

– Чё делать-то надо? – крикнул кто-то пьяненьким голосом с заднего ряда.

– Вам, боюсь, ничего, – осадил его Ферт. – Конкретно вы мне показались в этом зале посторонним, и я прошу вас удалиться.

Зал накрыла тишина. Никто не двинулся с места. Ферт, немного выждав, укоризненно нахмурился и посмотрел на одного из распорядителей. Двое в гимнастерках поспешили в конец зала, склонились над чем-то в третьем от стенки кресле и очень тихо произнесли

несколько фраз. Расхристанная фигура, выбравшись из кресла, проследовала, тиская мятую шапку, нетвёрдой походкой к выходу.

– Прощу прощения, – извинился Ферт и продолжил: – Итак, мы остановились на предмете нашей активности. Возможно, кто-то решит, что в чисто деловой беседе я допускаю излишний пафос, но пафоса требует тема. Я говорю о самой жизни – именно жизнь есть предмет нашего поклонения и нашего служения. Вы спросите, как это может выглядеть на деле? Но ответ пугающе прост: мы боремся за жизнь всюду, где в этом возникает необходимость. Хосписы, больницы, профилактории, диспансеры, суды – короче говоря, множество учреждений, от деятельности которых зависит так или иначе человеческая жизнь, находится под нашей опекой. Не остаются без внимания одинокие пенсионеры, ветераны и инвалиды. Всюду, где только возможно, мы боремся за жизнь. Это тяжёлый труд, и он, конечно, должен быть оплачен. Несколько лет тому назад был учреждён специальный фонд, на средства которого, в основном, и ведётся наша деятельность. Мы остро нуждаемся в помощниках – а откуда же их взять, как не из многочисленной армии безработных? людей, которые не понаслышке знают, почём фунт лиха?

Против слов Ферта трудно было что-либо возразить. Антон Белогорский, к примеру, с возражениями не нашёлся. Ферт между тем счёл нужным доказать прописные истины. Он подошёл к краю сцены, сел на корточки, начал наугад тыкать пальцем в зал и требовать от зрителей сведений об их заработках. Ещё он спрашивал у гостей, приносит ли им их работа – если, конечно, она у них ещё осталась – чувство морального удовлетворения. Большинство, как и следовало ждать, ни тем, ни другим не могло похвастаться. Тогда кандидат наук, как бы неожиданно пресытившись, выпрямился; дружеская улыбка на холёном лице сменилась улыбкой торжествующей. Ферт щёлкнул пальцами, снова грянул послушный марш, а на сцену тем временем гуськом потянулись аккуратные, подтянутые сотрудники «УЖАСа». Всего их набралось двенадцать; Ферт, предвкушая триумф, воскликнул:

– Расскажите, дорогие коллеги! Расскажите кратенько, что и как изменилось в вашей жизни после вступления в наши ряды!

Вперёд шагнул белобрысый молодой мужчина лет двадцати шести-двадцати восьми. Ростом он был с Антона, лицо покрывали следы былых сражений с гормональными чирьями.

– Моя фамилия – Коквин, – звонким голосом обрадовал он зал. – Вот уже четыре с половиной месяца, как я в «УЖАСе». Сейчас я не в состоянии представить, что когда-то – в точности, как вы сегодня, – сидел в этом зале и про себя смеялся над выступавшими. Я не поверил ни единому слову, но у меня не было выбора. Я не сомневался, что с меня потребуют денег, чтобы заплатить вступительный взнос. Когда я услышал, что платить не надо, то подумал: «Что я теряю? Что я теряю, черт подери?!»

На самовозбуждённого Коквина обрушились аплодисменты. Он их сердито, будто приходя постепенно в себя, выслушал и, соорудив суровую мину, поднял руку, как если бы был по статусу не ниже Ферта, но позабыл об этом в пылу откровенности.

– И вот моя жизнь совершенно преобразилась! – закричал вдруг Коквин. – Я нахожусь среди друзей – это раз! Я чувствовал себя ненужным и униженным, теперь я с гордостью заявляю, что я, в отличие от некоторых, жив – это два! Я помогаю людям сохранить и улучшить их жизнь, я не позволяю врагу к ним приблизиться – это три! Я зарабатываю хорошие деньги – это четыре! – Побагровевший Коквин выхватил из кармана галифе пачку чеков и потряс ими в воздухе. Ему снова, в три раза громче, захлопали.

Белогорский слушал выступление скептически. Кое-что к тому же показалось ему непонятным. Что это за «некоторые», в отличие от которых Коквин жив? Что он хочет этим сказать? И о каком он говорит враге?

...Вслед за Коквиным выступил кудрявый, дёрганный, веснушчатый тип, назвавшийся Муравчиком. В рот Муравчику набилась, видно, каша, но чёткая артикуляция оказалась не

так уж важна. Обрушив водопад эмоций в полную сонного сарказма трясину зала, он уступил место третьему. Вышел косноязычный толстяк по фамилии Свищев – этот ухитрился, вынимая свои щеки, рассыпать их по полу. Ферт сперва разгневался, но тут же догадался использовать неловкость в интересах шоу и преподнести её как следствие понятного, естественного волнения, как доказательство искренности. Содержанием выступления почти не отличались друг от друга, и их тайная сила заключалась в краткости и плохо разыгранном возбуждении. Ферт хорошо это знал.

– Ну, простите их, – попросил он зрителей, когда, под овации единоверцев, вся честная компания удалилась со сцены. – Это же не профессиональные актёры. Они волнуются. Будьте к ним снисходительны. Главное, вы слышали чистую правду. И сейчас я попрошу вас проявить ещё большую чуткость и терпимость. Сейчас я приглашу на сцену несколько человек, которым наша организация – как они сами считают – помогла. Угроза жизни этих людей была вполне реальной, но мы сумели отвести её на некоторое время... Пожалуйста, присоединяйтесь и приветствуйте вместе с нами!

Зал отреагировал на просьбу довольно сдержанно. Распорядители вывели, поддерживая под руки, древнюю старушку. Ферт поднёс бабушке микрофон, та приняла его дрожащей рукой.

– Евдокия Елизаровна! – обратился к ней Ферт проникновенно. – Расскажите нам, как вы сейчас себя чувствуете. Как живёте, как питаетесь...

– Ох, миленькие мои, – прошамкала Евдокия Елизаровна. – Вашему «УЖАСу» дай бог здоровья... Я ж одна живу, пенсия сто четыре рубля. А ноги не ходят, спина отваливается. В голове поросята хрюкают – гук! гук! гук! В магазин не выйти, комната не убрана. Соседи, прости господи, все пьяницы, проходу не дают...

– Так, Евдокия Елизаровна, – сказал терпеливо Ферт. – Хорошо. И что же изменилось?

– Так всё изменилось, – старушка с детским удивлением развела руками. – Ребятки, спасибо им, и приберут, и за хлебом сходят, и в аптеку...

Слов у Ферта не было. Он безмолвно описал рукой полукруг, поклонился и первый захлопал в ладоши. «О весна! Без конца и без края! Без конца и без края мечта!» – завопил динамик. Поднялся лес гимнастёрок, все дружно, ритмично хлопали.

После старушки на сцене появился respectable пожилой мужчина. Он оказался бизнесменом, который получал очень серьёзные угрозы от конкурентов. «УЖАС» помог и ему – уладил все дела с МВД, с которым работал в тесном, как принято выражаться, контакте, выделил телохранителей. Именно последние в лихую минуту защитили предпринимателя от пули – благодарный бизнесмен на глазах у публики выписал Ферту крупный чек и крепко пожал руку. Потом пригласили замкнутую, оробевшую девицу – несколько недель тому назад её угрозило попасть под колёса полупьяной «девятки». Понадобилась кровь – «УЖАС» успел и тут: немедленно выслал доноров, и жизнь несчастной была спасена.

«Нечто вроде службы «911», – подумал Антон Белогорский. В общем, не так уж плохо. Отчего бы и не попробовать? Военная форма, конечно, немного смущает. И вся эта из пальца высосанная идеология – на кой она дьявол? Он, понятное дело, об этом подробненько расспросит, прежде чем принять окончательное решение. Но в целом впечатление, скорее, благоприятное. Хорошо, что говорить ему предстоит с самим Фертом. Если он, Антон Белогорский, наденет форму «УЖАСа», то пусть уж лучше в учителях у него будет человек с понятием, а не какой-нибудь Коквин или Свищев. Да, придётся хорошенько подумать. Возможно, Париж стоит мессы.

Это выражение было у Белогорского одним из самых любимых. Когда он так говорил или думал, это означало, что решение уже принято.

3

Шоу подошло к концу. Ферт объявил, что все желающие могут теперь подойти к сотрудникам, чьи имена значатся в приглашениях, и обсудить детали. Зал загудел; часть зрителей ушла, не попрощавшись – не считая тех хамов, что покинули зал ещё во время представления. Оставшиеся разбились на группки, окружив хозяев праздника. Антон, поколебавшись, направился к Ферту, который сидел, закинув ногу на ногу, в первом ряду и принимал своих крестников в порядке живой очереди. Тех было человек пять-шесть, каждому он предлагал заполнить какую-то анкету. Заполнять её никто почему-то не хотел, а потому Ферт преспокойно, с вежливой улыбкой, советовал излишне недоверчивым соискателям попытать счастья где-нибудь в другом месте. Сам он, в свою очередь, не желал ничего объяснять и оставался непреклонен. Ругаясь, обиженные гости уходили не солоно хлебавши. Ферт продолжал беззаботно улыбаться, обнаруживая полную незаинтересованность в чересчур осторожных сотрудниках. Таким образом, Антон остался в одиночестве. Он посмотрел по сторонам: немногочисленные гости из отчаянных сидели, склонившись над листами бумаги. Антон глубоко вздохнул и поздоровался. Ферт сердечно закивал и протянул ему анкету:

– Не сочтите за труд заполнить.

– Да, но я сперва хотел бы...

– Пожалуйста, возьмите анкету, – повторил, словно не слыша, Ферт.

Антон взглянул на него, потом оглянулся на выход – и взял. Ферт, вместо того, чтобы радоваться, что хоть кто-то согласился на его условия, посмотрел на часы.

– У вас десять минут, – известил он Антона. – Достаточно?

– Наверно, – пожал плечами Белогорский, устроился через три кресла от инструктора и принялся изучать текст. Наглые, однако, вопросы. Национальность. Вероисповедание. Образование. Профессия. Возраст. Адрес. Партийность. Группа крови. Спортивный разряд. Печатные работы. Награды. Судимости. Знание языков. Специальные навыки. Вредные привычки. Семейное положение. Размер ежемесячного дохода. Сдерживаемые эмоции. Тьфу ты, холера! Какая гнида это составляла? Не нужно ли отпечатков пальцев?

– А куда всё это пойдёт? – осведомился Антон, перегибаясь через ручку кресла.

– Порву при вас, – улыбнулся Ферт. – Видите ли, я раскрываю карты лишь потому, что вы взяли анкету. Согласитесь – какой смысл тратить время на пустых, трусливых людей, которые её боятся даже взять – только взять, не заполнить! Полное отсутствие любопытства даже перед лицом голодной смерти.

– Так может быть, и заполнять не надо? – спросил Антон. – Если всё равно порвёте, почему нельзя устно?

– Легче прочитать – тогда сразу видно, на что обращать внимание в первую очередь и как строить беседу, – возразил Ферт уже с нотками неудовольствия. – Не хотелось бы в вас разочароваться – смелее! Осталось всего пять минут.

Антон махнул рукой и подчинился. Он трудился не пять, а целых пятнадцать минут, но Ферт ни разу его не поторопил и не сделал выговора, когда тот, наконец, вручил ему исписанный лист.

– Очень неплохо, – похвалил Белогорского инструктор и щёлкнул ногтем по листу, едва не проделав в нём дырку. – Сразу ясная картина! – Он выхватил красный карандаш и стал энергично подчёркивать. – Среднее образование, полуеврей-полубелорус с татарскими вкраплениями, беспартийный, ни навыков, ни наград, в бога не верите и вдобавок затаили злобу решительно на всех. Типичный невостребованный полукровка без предметов гордости. Мне кажется, вам у нас понравится.

– По-моему, вы всем так говорите, – Антон натянуто усмехнулся.

– Только тем, кто заполнил анкету, – рассмеялся Ферт и, как и обещал, разорвал его труд на восемь частей. – Итак, вы любезно ответили на наши вопросы. Я полагаю, у вас вопросов тоже накопилось – теперь вы можете с чистой совестью их задать.

Тот немного подумал.

– Ну... вот, например, насчёт телохранителей... Один на сцене упомянул, что к нему телохранителей приставили. Пули там всякие... Предупреждаю: я на мясо не гожусь. Физическая подготовка оставляет желать... в общем, вы понимаете.

– Конечно, понимаю. Никто вас под пули не отправит. Мы же не идиоты и видим, кто для какой работы создан. Фронт работ широк.

Белогорский с облегчением вздохнул.

– Почему ваши люди носят военную форму? – уже смелее спросил он, слегка прищурясь и ощущая себя в барственной роли покупателя, который пока не решил, брать ему товар или нет.

– Во-первых, форма дисциплинирует, – Ферт отвечал совершенно спокойно, ни капли не смущённый вопросом. – Если людей, которые кровно заинтересованы в сохранении своего места, ещё и по-военному организовать, им не будет цены. Во-вторых – в силу очевидной необходимости. Если существует враг, с ним нужно сражаться. Если нужно сражаться, следует позаботиться о войске. А войско предполагает ношение военной формы.

– Это само собой, – согласился Антон. – Надо же – вы сразу, не дожидаясь меня, перешли к следующему вопросу. О каких это врагах вы говорите?

Ферт снял очки и сунул дужку в широкий лягушачий рот.

– Враг, безусловно, необходим, – признался он тихо и серьёзно. – Без врага не обходится ни одно предприятие – разве что противник искусно замаскируется. Человек всегда испытывал потребность в ненависти. Ненавидят иноверцев, инородцев, иностранцев, классовых противников. На самом деле это чувство является мощным стимулом, двигателем прогресса. Не приходилось сталкиваться с подобной точкой зрения? Не приходилось. Ну, ладно, тогда просто примите к сведению. «УЖАС» тем и выделяется, что не наносит своей ненавистью никакого вреда окружающим.

– Это как же? – осведомился заинтригованный Антон.

– Вы ещё не догадались? Давайте ещё раз: вы – ничтожны. Вы не имеете заслуг. Вам нечем гордиться – ни кровью, ни Родиной, ни верой. У вас есть только жизнь, и сверх того – ничего. Кто же, в таком случае, враг живому? Вижу, что вы наконец-то сообразили. Совершенно верно: наши враги – это мёртвые.

4

Вечером Антон долго стоял перед окном и, словно заворожённый, всматривался в ночной октябрьский двор. Там было безлюдно; холодный ветер неслышно покачивал взъерошенные голые ветви и лениво гонял по чёрной земле опавшую листву. Одиноким фонарь высвечивал недоломанную скамейку, тоже одинокую. Их тандем напомнил Антону больницу, где он был всего один раз в жизни. Будто освещено операционное поле, пациент крепко спит, а мрак, окружающий сцену, предвещает операции печальный исход. Хорошо были видны и мелкий сор под скамейкой, и ворох грязно позолоченных листьев. Фонарь чуть дрожал на ветру, границы тьмы казались зыбкими, подвижными. И в доме, что стоял напротив, одни окна пугающе, навсегда угасали, другие загорались в механической надежде, не помня прошлого и не зная будущего, а небогатый небесный холодильник являл заветрившийся лунный сыр и мелкие электронные точки звёзд на фоне бесконечной пустоты.

Антон никак не мог собраться с мыслями и окончательно определить место Ферту и иже с ним. Несмотря ни на что, он дал своё согласие и с завтрашнего дня намеревался приступить к работе в «УЖАСе». Ему положили сто пятьдесят долларов в месяц – от них не смог бы отказаться ни один человек, оказавшийся в безвыходной ситуации. Поэтому Антон, скрепя сердце, не стал возражать против странных идей Ферта насчёт мёртвых и их роли в жизни общества. Явным криминалом не пахло, да и не смотрят в зубы дарёному коню. В том, что «УЖАС» – подарок судьбы, Белогорский уже не сомневался.

Когда инструктор нарисовал Антону образ врага, соискатель попросил подробностей. Ферт многословно и талантливо расписал ему все беды, что происходят от мертвецов. Он упомянул беды экономические, напомнив, скольких средств требуют от общества поминки, похороны, кладбищенское хозяйство, церковные обряды и пособия вдовам и сиротам – не говоря уже о страшном уроне, который наносит экономике сам уход из жизни какого-либо члена общества. Рассказал и о последствиях психологических – хронических стрессах, тяжёлых заболеваниях с потерей трудоспособности, попытках самоубийства – что тоже, вне всякого сомнения, отрицательно сказывается на благосостоянии народа. Опять же – если учесть, что истинно верующих крайне мало и вклад их в общее сознание невелик – сама по себе постоянная озабоченность по поводу своей неизбежной, необратимой в будущем смерти весьма отрицательно сказывается на людях. Очень много говорил об эстетической стороне дела, всячески живописуя отвратительные проявления смерти, не забыл про трупный яд и болезнетворные бактерии. «Да и вообще, – добавил Ферт, доверительно подаваясь к Антону, – есть ли у нас выбор? Быть может, вы хотели бы ненавидеть негров или жидов? Но какие у вас к тому основания? Или тех же коммунистов-демократов-масонов? Опять та же история. Не забывайте: жизнь – единственное, чем наградил вас Создатель. Этого у вас не отнять. Так используйте то, что имеете, на полную катушку! И тогда легко поймёте, что смерть, естественный антипод жизни, должна сделаться приоритетным объектом вашей врождённой агрессивности».

Антон прислушался к себе – присутствует ли в нём та проклятая гордость, основанная на чистой, без примесей, жизни? Удивительное дело – да! Ему удалось различить какое-то смутное, далёкое, бесшабашное удовольствие. Бездумную радость инфузории, невинное белковое торжество. Простая арифметика давала законный повод к гордости: достаточно сосчитать живущих ныне и умерших за всю человеческую историю. Последних наберётся гораздо больше, а у меньшинства всегда найдётся оправдание для чувства превосходства. Но главное не в теоретических обоснованиях. Главное – в чувстве самом по себе, поскольку Антону никогда прежде не приходилось его испытывать. «Вы живы и уникальны, – сказал ему Ферт на прощание. – Не то что эти разлагающиеся, теряющие индивидуальность органокомплексы». Он прав, если судить беспристрастно! Конечно, своей откровенной простотой позиция Ферта может

оттолкнуть интеллектуалов, неспособных и слова сказать в простоте. Но обычному человеку из толпы такие мысли придутся по вкусу. Они доступны, понятны, универсальны, не требуют мучительного анализа, вдохновляют на подвиги, труд и процветание...

Может, ему и карьере удастся сделать? Ах, напрасно он так вот с ходу, не подумав, отказался от должности телохранителя! Конечно, телохранитель из него никакой. Но Ферт мог заключить, что он вообще не пригоден к использованию в каких-либо рискованных проектах. Антон почему-то не сомневался, что такие существуют, но держатся в тайне. А Белогорский не настолько хил, как можно с налёта решить! И форма – верно подмечено! – мобилизует, умножает силы... Он сходил в прихожую к зеркалу, которое ещё недавно, утром, обошёл вниманием. Нет, не так он плох! А в форме будет смотреться и вовсе замечательно. Ведь это ж надо – до чего сильна мёртвая сила, если даже очевидный, глаза режущий физический потенциал она способна принизить и внушить ощущение совершенного несовершенства!

Возбуждённый, покрасневшийся, Антон Белогорский вернулся к окну. Под фонарём на скамейке кто-то сидел. Неизвестный человек был полностью неподвижен, на лицо его падала тень. Когда он успел – Антон отошёл буквально на полминуты? Человек сидел с прямой спиной, положив на колени руки в перчатках. Час был поздний; кроме застывшей фигуры во дворе не было ни души, – даже собак не выгуливали. Почему-то Антон дал себе слово, что никто, никогда, ни за что на свете не заставит его выйти из дома и подойти к этому типу. Тут он с досадой сообразил: какая дурацкая блажь! никто и не просит его так поступить. Чертыхнувшись, Белогорский отправился спать.

...Ночью он сильно захотел пить, проснулся. В кухне, глотая из высокого стакана отдающую хлоркой воду, как бы нечаянно взглянул в окно – скамейка была пуста, и мёртвые листья, словно пешки на доске, подтягивались ветром друг к другу.

5

Радость Антона по поводу работы плечом к плечу с самим Фертом была преждевременной. Обнаружилось ещё одно отличие от компаний и фирм, с которыми ему приходилось иметь дело до того: вербовщик, привлекая в «УЖАС» новичка, получал от организации единовременное скромное вознаграждение, но в дальнейшем не стриг уже никаких купонов. «УЖАС» содрал с той же сайентологии лишь форму набора – для удобства первой беседы и поощрения активных вербовщиков. Поскольку «УЖАС» ничего не производил и не продавал, то и ощутимых выгод от последующей деятельности новичков начальникам не было. Так что Ферт с лёгкостью определил Белогорского в звено Коквина.

Антон отметил про себя, что это ещё не худший вариант. Угрюмый, пещерного вида Свищев, к примеру, вызывал у него куда меньше симпатий. А в Коквине был фанатизм – нерассуждающий, тупой – и только. Ни страха, ни почтения он с первого взгляда не внушал. Помимо Коквина, в звено входили Холомьев, Недошивин, Злоказов и Щусь.

Форма уравнивала этих, в общем-то, не похожих друг на друга людей. Лицо Холомьева не оставляло ровным счётом никаких надежд на познание личности. Антону никогда не встречалась столь невыразительная, поблекшая физиономия. Он затруднился бы вспомнить, спроси его кто, какого цвета у Холомьева волосы, какого – глаза. В памяти удержался лишь рот – вернее, то обстоятельство, что рта не было. На месте рта находилась узкая щель для магнитной карты. От Недошивина со страшной силой несло дешёвым одеколоном, а на плечи его гимнастёрки, словно манна небесная, осыпалась перхоть. Лоб и подбородок Недошивина угрожающе выпячивались вперёд, а нос, глаза и губы казались вмятыми в полость черепа мощным резиновым ударом. Злоказов, вопреки традициям «УЖАСа», мог бы гордиться своей внешностью – он был безупречен и прекрасен, как небесный херувим, однако – на свою беду – не ценил и не видел собственной красоты, а значит, подпадал под общее правило никчёмности. И, наконец, оставался Щусь, который в совершенстве соответствовал юркому, мышинному звучанию своей фамилии – был он маленький, увёртливый, с безбровым крысиным личиком и постоянной бессмысленной улыбочкой на губах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.